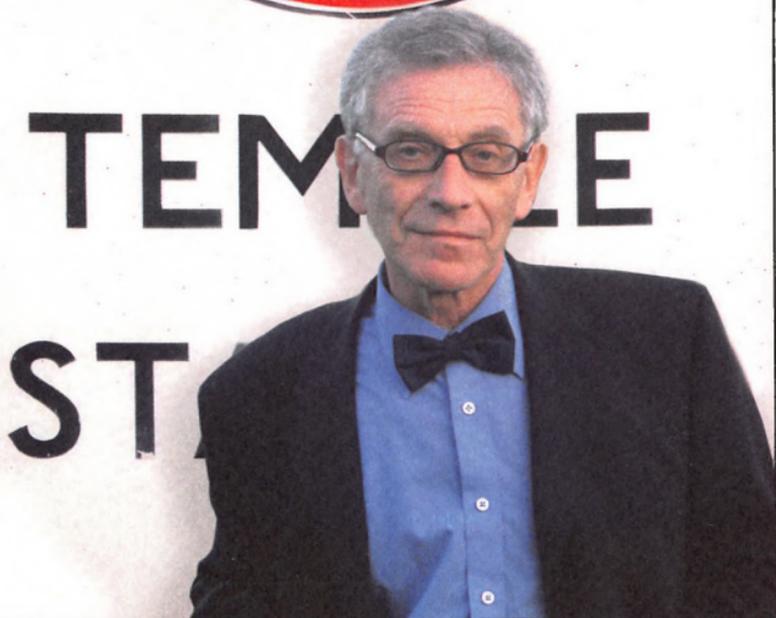


Зиновий Зиник

У СЕБЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Зиновий Зиник

У СЕБЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

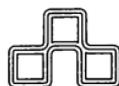


Зиновий Зиник

У СЕБЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Зиновий Зиник

У СЕБЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ



Москва *Три квадрата* 2007

УДК 821.161.1-4 Зиник З.
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
З-63

Издатель: Сергей Митурич
Редактор: Елена Шумилова
Корректор: Ада Мартынова
Обложка: Савва Митурич
Производство: Елена Кострикина

«В этих скетчах, эссе, очерках рассказываются разные любопытные истории про городских лисиц среди лондонских помоек... про тайландских слонов, занимающихся абстрактным экспрессионизмом... про воблу в английском парке и про немецких единорогов. О чем бы ни шла, однако, речь в этих заметках, один мотив просматривается везде: речь идет о пребывании в некоем промежуточном мире, где чужое воспринимается как свое, а свое – как чуждое.»

Автор этих записок, бывший московский, а ныне лондонский писатель и эссеист Зиновий Зиник по скромности не упоминает о более крупных, литературных зверюшках, встречающихся на его пути: Бёрджесе, Бродском и других, описание которых доставит читателю немалое удовольствие.

Зиник, Зиновий.

У себя за границей / Зиновий Зиник. – М. : Три квадрата, 2007. – 288 с. : ил. — ISBN 978-5-94607-084-8

ISBN 978-5-94607-084-8

© Зиновий Зиник, 2007
© Три квадрата, 2007

В этих скетчах, эссе, очерках рассказываются разные любопытные истории про городских лисиц среди лондонских помоек и про игроков в крикет среди английских диссидентов; про русскую солдатскую шинель как образец высокой моды и про тайландских слонов, занимающихся абстрактным экспрессионизмом; про аквариум на британской радиостанции и каббалистов среди секс-меньшинств; про нищих на американских курортах, про воблу в английском парке и про немецких единорогов. О чем бы ни шла, однако, речь в этих заметках о другой жизни, один мотив просматривается везде: речь идет о пребывании в некоем промежуточном мире, о пограничной ситуации, где чужое воспринимается как свое, а свое – как чуждое. Этот мир двойной географии – прерогатива человека, превратившего другую страну и другой язык в свой дом.

Я менял адрес этого дома не раз. Уехав из родной Москвы в 1975 году, я на протяжении целого года занимался постановкой водевилей Козьмы Пруткова в Иерусалиме; провел несколько месяцев в Париже, где стали издавать мои первые романы в переводе на французский (до того, как они были опубликованы на языке оригинала), и, наконец, поселился в Лондоне, где живу и работаю – на двух языках уже тридцать лет, в частности на радиостанции Би-би-си. При этом я много путешествую и около месяца каждый год провожу в Америке – часто с

лекциями. Все эти перемещения мой читатель может проследить в очерках, скетчах и коротких эссе этой книги.

Кто из нас не рассказывал о своих заграничных поездках? «Заграница» для русских – это не просто другая страна: это целый миф. Священные камни Европы описаны в подробностях в письмах русских путешественников. Более того, русские классики дореволюционных времен по полжизни проводили в Европе. Даже в эпоху «железного занавеса» мы с волнением читали о городе желтого дьявола и ветках сакуры. Однако все эти сочинения, вне зависимости от политического режима в стране и идеологии автора, были взглядом на зарубежье со стороны, извне. Это были заметки человека, знающего, что, если не сегодня, то завтра он вернется на родину, домой, обогащенный новым опытом, готовый поделиться этим опытом с соотечественниками.

Но вот на протяжении довольно короткого с исторической точки зрения периода, скажем, лет в пятнадцать (с середины семидесятых до конца восьмидесятых годов), в странах к западу от бывшего «железного занавеса» образовалось странное и уникальное племя выходцев из России. Они резко отличались в своих идеях от всех предыдущих (и, возможно, последующих) поколений российских путешественников. Речь идет об эмиграции. Добровольной эмиграции. Не об изгнании, не о вынужденном – или навязанном свыше – расставании с родиной, а именно о добровольном уходе в другую цивилизацию. Три волны эмиграции (эпохи Октябрьской революции, Второй мировой войны и, наконец, брежневского застоя) вынесли к западным берегам бог знает кого и черт знает что. Но главный рубеж, разделявший три поколения эмиграции, касался всегда вопроса о возможном возвращении в Россию.

Сейчас все хором говорят о том, как они давно предвидели, что советская власть вот-вот рухнет. Я не обладал подобной пророческой интуицией. Я был уверен,

что Советский Союз доживет как минимум до 2984 года. Поэтому никаких шансов на возвращение – в круг друзей, в родной язык – я не видел. Вывод отсюда напрашивался лишь один: жизнь вокруг меня, английская жизнь и ее английский язык, это и есть моя жизнь и мой язык – даже если я ношу в себе еще и другой мир, говорящий на ином языке. Я должен жить в параллельных мирах, соединяя их в себе воедино. Традиционное деление на внутренний и внешний мир в сознании человека для меня выражалось вполне географически и вербально – в двуязычии. Я жил между двух миров – то есть, нигде. Те, кто способен был меня понять, говорили на другом языке. Тот, кто говорил на моем языке, находился от меня за тридевять земель и не понимал, с чем и с кем я сталкиваюсь в своей новой жизни. Это был отказ от российского читателя – отказ от большой литературы, в традиционном понимании этого слова. Точнее, мой российский читатель еще не существовал в настоящем времени, сейчас, вокруг, здесь. Он отодвигался в некое неведомое будущее, в которое сам автор не слишком верил. Это был уникальный для меня период в литературе (да и не считал я себя никогда литератором), когда мы писали для самих себя. Единственным адекватным жанром такого литературного мышления был и остается жанр эпистолярный.

На протяжении двух десятков лет я регулярно писал письма русским друзьям – и здесь, и там – практически каждый день. Каждое письмо в том или ином смысле было попыткой описать по-русски вещи, в русском языке до этого не существовавшие. Словесность – это преодоление чуждости. Эмиграция, отъезд навсегда в иные земли – лишь одна из форм подобного преодоления чуждости. Так личная переписка превращалась в литературу. С появлением в 70-е годы новых эмигрантских изданий (и в первую очередь высоколобого и стилистически строгого «Синтаксиса», а до этого – свободного в своей нелепой пестроте ежемесячника «Время и мы») выясни-

лось, что у этой нездешней и неприкаянной прозы появился свой дом. У этой дневниковой активности появился свой читатель. Понадобилось двадцать лет и еще одна революция в России, чтобы эта отчужденная от всего литература «ни для кого» стала просто-напросто еще одним любопытным взглядом на внешний мир российскими глазами.

Заграница стала частью российского сознания. То, что я считал сугубо личным отчетом о другом мире, стало предметом «разговоров запросто» на страницах российских журналов. Так, личная переписка стала скетчами про мою жизнь за границей для журнальных колонок (в «Итогах» в 1990-е годы и, до последнего времени, главным образом в еженедельнике «Новое время»; публиковались эти истории и в глянцевых журналах, и на разных сайтах). Приглашаю вас, читатель, в эту «свою» за границу.

Зиновий Зиник

У себя за границей

Драгоман в Дублине

Я попал в Дублин 16 июня 1991 года, в Блумов день, когда весь город пьянствует, передвигаясь от паба к пабу по маршруту героя джойсовского «Улисса» Леопольда Блума. Я воспользовался собственным эмигрантским стажем лондонца, прожившего к тому времени лет пятнадцать вне родной Москвы, чтобы отпраздновать Блумов день, поскольку эта дата – 16 июня – время действия в романе «Улисс» – совпадает с моим днем рождения. Главным подарком ко дню рождения оказалась встреча в Дублине с Энтони Бёрджессом. Бёрджесс, экспатриант-профессионал, покинувший Англию в 60-е годы и к тому времени лет уже тридцать живший в Европе, навещал Дублин как мусульманин Мекку, чтобы поклониться своему кумиру, патриарху литературной эмиграции Джеймсу Джойсу.

Не думаю, что встреча эта была совершенно случайной. Прежде всего, Дублин – именно тот город, где встречаются и откуда уезжают все те, кто в несогласии с собственным прошлым, настоящим и будущим. Из Дублина бегут все те, кому опостылел доморощенный махровый католицизм, или доминирующая роль англичан в ирландской истории, или разговоры об ирландской революции, католицизме и англичанах. Но как и в России, отъезд из Ирландии связан с чувством вины и предательства – своего прошлого, дружеского клана, национальной идеи, революции; и поэтому отъезд – это авто-

матически всегда еще и вопрос о возвращении на родину. Всякому российскому человеку (по крайней мере, моего поколения) подобная ситуация не чужда. Всех таких, вроде нас, тянет в нервные центры изгнанничества, вроде Дублина.

Среди обломков тяжких оков и «железных занавесов» бродят герои, потерявшиеся меж двух культур, политических режимов, языков и религий, пытаясь найти объединяющее начало вне стен собственного дома, как будто лишь расселина, раскол в душе, может вывести к свету и свободе. Речь идет о людях, которые хотят жить как иностранцы в собственной стране и как экспатрианты в стране чужой. Речь идет о тех, кого Энтони Бёрджесс, любивший редкие словечки, называл драгоманиями (от семитского «тургеман» – переводчик). Драгомания – уже давно не профессия, драгомания – это состояние ума, если не мания.

Этого рода герои ищут те ситуации в жизни, где сопрягаются противоречивые тенденции – политические, религиозные, сексуально-эротические. Эти герои встречаются чаще всего там, где подобная двойственность присутствует явно, как на улицах Дублина. Одни и те же города, одни и те же кафе или салоны привлекают людей одного и того же типа – от протестанта Беккета до первого политического беженца в истории России – Владимира Печерина, прототипа лермонтовского Печорина и лишнего человека, перешедшего в католичество; или же Джона Ньюмана, попавшего в католические кардиналы из англиканских священников и потерявшегося между Альбионом и Римом. То, что было Парижем для Джойса, было Женевой для Кропоткина. В Швейцарии, в Лугано, поселился, в конце концов, и Энтони Бёрджесс, когда покинул Великобританию. О такой же столице мира мечтал и дублинский еврей Леопольд Блум.

«Леопольд Блум не был, кстати, евреем с талмудической точки зрения», – заметил Бёрджесс. «Отец у него –

крещеный еврей из венгров, а мать – ирландка. Но в дублинском пабе в подобные тонкости никто не вникает».

Тот факт, что для дублинского плебса Леопольд Блум был жидом, а для талмудиста не был даже евреем, не помешал Блуму стать мифологической фигурой дублинской истории. Диаспора, то есть жизнь вне стен своего дома, создала новую религию – религию разрушенного храма, распавшегося прошлого. Если верить талмудистам, этот храм будет оставаться в руинах, пока не придет Мессия. Тогда, и только тогда, евреи соберутся в Святой Земле и Храм будет восстановлен. Талмудический закон – это не что иное, как правила поведения в вечном зале ожидания. Как во всяком привокзальном зале ожидания, вход и выход – свободный; но снаружи, в городе, делать нечего. Иудаизм – это религия ожидания, переживания (жид, жить, жизнь), жизни на чемоданах, из дома в дом со своими пожитками и жидами. Это состояние временности, возведенное в статус вечности. Это страх перед возвращением в собственное прошлое, ставшее чужой (римской, турецкой, британской) жизнью, это сакрализация своего отказа возвращения домой (ожидание Мессии).

Чуть ли не в первые же минуты нашей встречи с Бёрджессом в тот самый Блумов день он тут же заметил, что русское слово «дом» происходит от латинского «dome», то есть «храм». Не отсюда ли вечная российская настроенность в отношении латинского мира, где лежит недоступный тебе прообраз твоего родного дома? (Напомню, что отец Владимир Печерин был в юности университетским латинистом.) Я, в свою очередь, указал ему, что и слово «голос» происходит от древнегреческого «глосса», затерявшегося в античности. Так что у русских нет ни своего дома, ни своего голоса. Эта расщепленность российского сознания не случайна и в том смысле, что православная религия идет от Византии, а цивилизация – с Запада. Но более или менее сведущий англичанин скажет вам, что подобная расщепленность –

вовсе не уникально российская. Со времен вторжения нормандцев в Англию язык распался: блюдо на столе стало называться по-французски (скажем, свинина – pork), в то время как домашний скот сохранил свое англосаксонское имя (скажем, свинья – pig).

На ланче в дублинском отеле «Хилтон» (ланч продолжался часов пять), где останавливался Бёрджесс, выбором блюд и напитков распорядилась его вторая жена-итальянка (самое грубое из меню – чипсы и гамбургеры, такого в Италии не получишь), и не уступала ему ни в скорости поглощения чипсов, ни бренди с сигарами. Лиана (Liliana Macellari), журналистка, в свое время брала у него интервью для итальянской газеты и, переспав с ним, втайне родила ему сына. Они встретились лишь много лет спустя, после смерти первой жены Бёрджесса. Как и в случае с супругой Набокова, Лиана стала для Бёрджесса своего рода литературным агентом, менеджером, бухгалтером и даже гувернером, батлером, – и все это несмотря на обманчивую эксцентричность и внешности, и поведения – накрашенные губы и шляпка со щедрым натюрмортом из искусственных цветов и ягод, не считая натуральных роз в развесистых кудрях. Разговор происходил на трех языках сразу – английском, с русскими вставками – в честь меня и моей жены Нины, и, естественно, итальянском. С отступлениями на неизвестном мне языке, поскольку за ланчем присутствовала еще и журналистка из Скандинавии, если не ошибаюсь. Не считая вкраплений кельтского и латыни, благодаря присутствию нашего общего знакомого, дублинского сенатора и мемуариста Энтони Кронина.

Кронин в свое время прошел классический маршрут дублинского пилигрима: уехал в Париж – в парижскую легенду о Джойсе и Беккете, чтобы через несколько лет возвратиться разочарованным в свой Дублин – в дублинскую легенду о тех же гениальных именах. Энтони Кронин и сообщил Бёрджессу о моем присутствии в Дублине. Бёрджесс сказал, что он поклонник моего эмигрантско-

го романа, известного в переводе на английский как «The Mushroom Picker» (то есть «Грибник», в оригинале – «Руссофобка и фунгофил»). Не всплыл ли у него в уме мой роман потому, что в момент нашей встречи в Дублине он чуть ли не у нас на глазах редактировал свой перевод грибоедовского «Горя от ума» на разговорный каламбурный английский? Я, в свою очередь, вспомнил, что недалеко от памятника Грибоедову в Москве был когда-то магазин «Грибы и ягоды» – не потому ли вспомнил, что под ягодой, видимо, я подсознательно подразумевал апельсин, имея в виду роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин»?

Имя Энтони Бёрджесса в сознании широкой публики связано именно с этим скандальным романом, где героини-панки, подонки и отребье общества из фантастического будущего Англии, изъясняются на выдуманном англо-русском аргю. Но у этой черной утопии есть своя предыстория в виде еще одного, не столь известного романа Бёрджесса тех же лет, «Мед для медведей» («Honey for the Bears»). Еще лет десять назад роман читался бы как отыгравший свою роль сатирический документ эпохи холодной (не слишком, впрочем, холодной – эпохи оттепели) войны. Речь идет о визите мелкого английского бизнесмена Пола Хасси (или Гасси, как предлагает его называть по-русски автор) и его супруги Белинды в Ленинград. С самого начала понятно, что у их поездки – несколько сомнительная подоплека. Белинду и Пола потянуло в Россию вовсе не с благотворительными целями. И даже не как туристов. Это – люди, бегущие от самих себя, от собственной опостылевшей жизни в Англии, ставшей для них тюрьмой. Российский хаос, анархия, коррупция и насилие для них – свобода. Точнее, другая свобода, не та, что превратила их в рабов собственных подавленных желаний. Россия – это своего рода психоаналитический сеанс, чистилище, душевная провокация. Именно Бёрджесс, и никто другой, назвал Россию подсознанием Запада.

Лишь лично встретившись с Бёрджессом, прочтя позже его автобиографию, я понял, насколько роман «Мед для медведей» документально воспроизводил события его жизни, его собственное путешествие с алкоголичкой-супругой (его первой женой) в советскую Россию. В отличие от полиглота Бёрджесса, его жена с трудом разбирала русский алфавит. Чтобы помочь ей заучить элементарные русские слова, Бёрджесс развесил по их лондонской квартире листы, где крупными буквами, кириллицей, были выписаны слова, выглядящие и звучащие более или менее одинаково по-русски и по-английски (вроде слова ТУАЛЕТ, как те самые «мистические иероглифы некой иной цивилизации», о которых он потом заговорил в романе «Мед для медведей». В эти дни он работал над своим «Заводным апельсином»).

»Меня осенило», говорит Бёрджесс (я цитирую его автобиографию), «что подонки-хулиганье из британского будущего должны говорить на смеси пролетарского английского и русского... Эти друзья-подростки, друг, исповедующие культ вандализма и насилия, говорят на языке тоталитарного режима. Книга эта – о промывке мозгов, и мозги промывались и читателю, которого я заставил незаметно для него самого выучить бессмысленное, казалось бы, англо-русское арго».

В современной ему России Бёрджесс увидел кошмарную фантазию об авторитарной Англии в будущем. Бёрджесс жаловался мне, что переводчики «Заводного апельсина» на русский не удосужились придумать эквивалент иностранного арго, некоего псевдо-английского русского. В реальном же будущем так и произошло: вся Россия с концом советской власти действительно заговорила, заручившись «баксами», на иностранном волапюке, с его маркетингом, холдингом и бодибилдингом. Эта трансгрессия, незаконное пересечение языковых границ – занятие крайне заразительное. Одно время я развлекался тем, что на латинской машинке сочинял целые фразы по-русски, пользуясь тем, что некоторые ла-

тинские буквы, вроде «с» или «т» в виде заглавных букв читаются как кириллица, так что слово МОСКВА, РЕСТОРАН или САМОВАР для англоязычного человека будут звучать как «мокба», «пектопа» или «камобап». В таком духе можно сочинять целые предложения, вроде: ЕВРЕЕВ В КОСМОСЕ НЕ ХВАТАЕТ.

Поиск универсального языка, не лишаящего тебя индивидуального голоса, – тайная страсть и цель всякого романиста. Перебравшись в Европу, Бёрджесс совершенно серьезно предлагал возродить латынь как некий возврат к единству средневекового европейского христианства. Вслед за Достоевским он считал себя европейцем потому, что ощущал ностальгию по утерянному прошлому Европы, превратившейся в пестрый базар разноязычных государств. Английский «дом» – house – на русский слух звучит как «хаос». Поиск своей латыни для человека пишущего, с темпераментом Энтони Бёрджесса, был как поиск духовной родины, родного дома. И наоборот, ощущение родного языка, воспринимающегося как иностранный, – это один из редчайших даров и прерогатив долголетней эмиграции. Чацкий слишком долго жил за границей и забыл язык и манеры той самой Марьи Алексевны. Хорошо это или плохо – решать читателю Грибоедова. Но у самого героя это ощущение собственной «инородности» вызывает чувство вины и одновременно гнева – и на себя, и на других.

Эмиграция всегда связана, вне зависимости от политического режима на родине, со страхом перед собственной несостоятельностью – недоволенностью – в том мире, который был тобой оставлен. Отсюда и чувство вины: у тебя могла бы быть жизнь, от которой ты ушел, бросив близких на произвол судьбы. Чувство вины эмигрантского писателя по-настоящему начинается лишь с его отказа от родного языка. Он уходит в иное словесное общение, потому что не решился высказать на родном языке нечто существенное для себя и прикрывает страх перед собственным высказыванием –

страх перед самим собой – переходом на чужой язык, где он заранее стеснен, несвободен, избавлен от ответственности за собственные слова. Так, по крайней мере, я сам интерпретировал слова Бёрджесса об уходе из родной литературы.

Бёрджесс утверждал, что ему подобное чувство вины как ощущения непоправимой потери у человека, не осознающего себя вне своих слов, не присуще, ведь его слова всегда при нем. Поэт, по словам Бёрджесса, всегда один, так или иначе существует сам по себе, и география тут ни при чем: не одна вина, так другая. Сам Бёрджесс жил в трех странах одновременно, то есть нигде, в дороге. Он уехал из страны навсегда, чтобы служить «уже не Британской империи, а нечто большему – своему родному языку среди шума языков иностранных». Я позволил себе заметить, что русское слово «царь» (от «кесаря»), по-английски *tsar*, созвучно с английским *sire*, или *sir*, сэ́р. «Поэт, ты – сэ́р, живи один» – так можно было бы перевести Пушкина на английский.

По ходу сумбурного и крайне оживленного пятичасового разговора в этом вавилонском столпотворении языков Бёрджесс крайне ловко и успешно жонглировал одновременно и *окровавлённым* гамбургером с чипсами, и записной книжкой, и сигарой, и собственными словами, запивая (но не заливая) все это огромными порциями бренди. В нем была демонстративно размашистая кельтская щедрость и одновременно ловкость и напористость хорошо вышколенного гарцующего скакуна (гарцуна, как сказал бы Джеймс Джойс) старой школы. Мою жену Нину, крайне сдержанную на людях, он разговаривал в два счета, принимая ее за столом как самую почетную гостью и постоянно обращаясь именно к ней в своих монологах. Я вспоминаю его лицо: подвижность и одновременно настороженность взгляда, почти вороватая оглядка на собеседника, режиссерский огляд-прикид: подействовало твое слово или нет? И не имеет ли смысла быстро сменить выражение глаз, улыбку, слово –

для вящего эффекта? Драгоман Энтони Бёрджесс принадлежал еще и к вымирающей породе великих говорунов: их уникальный дар – сближение далековатостей на самых крутых и неожиданных поворотах разговора и судьбы. Это – благородная изнанка эгоистов и эгоцентриков (каковым, не сомневаюсь, и был Энтони Бёрджесс): они настолько сосредоточены на себе, что все сказанное тобой кажется им страшно важным, потому что воспринимается ими всегда лично и на свой счет. В результате ты сам вырастаешь в собственных глазах.

В какие только эмиграции не уходил наш разговор. Но всякий раз возвращался к одному мотиву, классическому для Дублина – города непризнанных гениев. Бёрджесс – гений признанный, но самый болезненный для него вопрос касался не гениальности, а рыцарства: Энтони Бёрджесс был твердо уверен, что никогда не получит рыцарского звания сэра. Главных причин было названо три. Во-первых, он – автор «Заводного апельсина», романа, развратившего молодое поколение британцев. Во-вторых, он – католик. (Как королева, глава англиканской церкви, может сделать своим рыцарем человека чуждой религии?) И в-третьих, он живет за границей. (То есть он не только вне страны в трудный для нее час, но еще к тому же не платит налогов казне.) Всякий раз громкий хор голосов за столом пытался опровергнуть Бёрджесса противоречащими друг другу примерами. («Поэт, ты – сэр, живи один».)

Ресторан был отделен, как экспозиция в музее, лишь шелковым шнурком от гигантского холла «Хилтона», и снующие мимо толпы людей косились в сторону нашего шумного застолья. Поэтому я не удивился, когда в нескольких шагах от нас задержалась чуть ли не целая делегация. Я наблюдал вполглаза, как от этой группы отделился молодой человек и приблизился к нашему столику. Он остановился передо мной как вкопанный.

«Вы Зиновий Зиник?!» прошептал он по-русски. Я, совершенно ошарашенный, вскочил и раскланялся. Не-

известный представился как поэт со значащей фамилией Хлебников. Он стал долго и красноречиво объяснять мне уникальность моего литературного дара вдали от русских мест. Я благодарно краснел и переминался с ноги на ногу. Краем глаза я видел недоуменное и помрачневшее лицо Энтони Бёрджесса. Это лицо известно каждой бродячей собаке и транзитному пассажиру, умеющему читать, – оно глядит на публику с обложек книг Бёрджесса в аэропортах, со страниц ежедневных газет и телевизионных экранов. Однако московский поэт из всех сидящих за столом узнал в лицо лишь меня. Переводчик «Горя от ума» был явно неприятно удивлен.

«Вы получите звание сэра», сказал в конце концов Бёрджесс, хмурясь, когда московский поэт отбыл в своем направлении. Я отрицательно мотнул головой:

«Боюсь, что нет».

«Это почему?» серьезно удивился Бёрджесс.

Впервые в жизни я вовремя нашелся:

«Потому что», помедлил я, нацеливаясь на парадокс, «потому что я не развращал молодое поколение. К тому же я – не католик. И я не живу за границей».

Голос вне хора

На днях я стал свидетелем еще одного примера уязвимости и хрупкости британского парламентаризма. Или, наоборот, стойкости и нерушимости. Проверка производилась вокалом. Королевскую оперу в Ковент-Гардене всегда обвиняли в самом страшном – для популистской демократии – грехе: в элитарности. Когда-то в главном театральном буфете партера Оперы, с двумя парадными лестницами, просто невозможно было появиться, если ты не во фраке, при даме в соболях. Билеты стоили месячной зарплаты, за исключением мест на верхотуре – галерки для плебса. Но туда надо было добираться по нескольким тысячам ступеней без лифта. Старушек сносили обратно с инфарктом – в жару под потолком была просто душегубка. Именно тут на площади, после премьеры в Ковент-Гардене, элитарный ученый профессор Хиггинс (из комедии Бернарда Шоу «Пигмалион») анализировал пролетарское произношение Элизы Дулиттл, продававшей фиалки под арками. Пролетарский выговор нынче в моде. В новой версии «Пигмалиона» я бы, наоборот, назначил Элизу Дулиттл обучать простонародному акценту профессора лингвистики. Относительно недавно здание Оперы радикально перестроили, расширили, модернизировали, создали атмосферу открытости и гласности, включая общедоступную для всех мест акустику. Но народу этого мало. И вот пару лет назад наступил новый этап демократизации элитарного искусства.

Теперь в начале каждого оперного сезона на площади Ковент-Гардена устанавливается гигантский экран и протягиваются кабели супер-усилителей. И главные премьеры сезона, вроде недавнего «Риголетто», транслируются прямо на экран, синхронно, живьем, для сотен людей на площади. То же самое собираются скоро устроить на Трафальгарской площади со спектаклями Английской Национальной оперы. Уверен, что фанаты заберутся на колонну Нельсона. Но в Ковент-Гардене главное найти подходящее заведение с террасой – тогда почувствуешь себя ну прямо как в партере Оперы. Фантастика.

Именно так я себя и чувствовал, особенно после пары пинт со сметком. Сметок в наши дни в Лондоне не редкость, но пионером в этом блюде было заведение «Tuttons» на площади в Ковент-Гардене. С террасы заведения (через дорогу от здания Би-би-си) я и наблюдал за процессом демократизации оперного искусства. Это кафе-ресторан было первым французским заведением, восстановившим, можно сказать, из руин бывшего легендарного овощного рынка с Королевской оперой на другом углу площади. В ту, рыночную, эпоху тут стоял тяжелый запах гнилья, смрада и свежих цветов, и можно было сломать голову, поскользнувшись на банановой шкурке или лепестке розы. Многие годы после закрытия рынка район стоял окруженный заборами, превратившись в центральный писсуар для всего лондонского Уэст-энда. Но есть некоторый мазохизм в архитектуре западных городов: выбрать самое загаженное и уродливое место (вроде бывших мясных складов в нью-йоркском Челси) и превратить его в модный квартал. Рыночно-скандальная репутация тянется, однако, за этим районом несмотря на нынешний лоск. Как во всяком фешенебельном квартале, тут много клошаров, бродяг, бомжей и всякого другого нетрудового элемента. Они как раз и толпятся вокруг богатых модных мест вроде террасы заведения «Tuttons», где всегда толпы туристов, но в определенные дни просто не пробиться.

Опера была в разгаре. Тысячная толпа замирала от восторга и восхищения, когда над крышами Лондона зазвучала божественная трагическая ария обделенного судьбой и любовью Риголетто: «О, тираны, исчадь порока!» И вдруг в паузе, как будто искаженным эхом, кто-то завел то же самое, так же громко, но несколько не в тон: «уу-у, тираны, исчадь, уу-у-у, порока!» Это был пьяный тип, небритый, в отрепье, с банкой пива в руках. Клошар, бродяга, лондонский бомж. Кем он был в предыдущей экзистенции – профессором Хиггинсом или Элизой Дулиттл – трудно сказать. Он покачивался, но несколько не в такт, потому что в промежутке еще прихлебывал пиво из банки. В другой у него была бутылка сидра – любимого напитка лондонских алкоголиков: и крепко, и не жжет. И орал он благим матом, подхватывая невпопад знаменитую арию. А за этой арией – и менее знаменитую. На разные голоса.

На него тут же зашикали. Бесполезно. Публика пыталась призвать к порядку дебошира. Но это не смутило звезду сезона. Рядом стоял лондонский полицейский – бобби, совершенно невозмутимый. Он и бровью не повел. А что, собственно, можно сделать? Когда-то Герцен жаловался на безразличие лондонских полицейских: когда двое дубасят друг друга, не задевая при этом прохожих, представитель власти не вмешивается. А тут человек даже не дерется. Никакого закона не нарушает. Поет себе, стоя на улице. Орет, да, но время не позднее, никто еще не спит. Это было в чистом виде площадное искусство. Карнавальный элемент жизни. Такое впечатление, что наш солист знал всю оперу наизусть. Пел он не в тон, перевирал слова, с жуткими придыханиями и завываниями, заглушая оригинал, но, в общем-то, вполне профессионально. Мне даже пришло в голову: а может, это специально так задумано? Как бы театр в театре? Одно время любили запускать в зал якобы дебошира, как бы мешающего действию. Это был прием из театра Пиранделло, где действие переходит со сцены

в зал и обратно. Площадь в Ковент-Гардене, с подсветкой фасадов, сама напоминала сцену, поскольку, как известно, весь мир – театр и все мы в нем актеры. Некоторые из нас несколько нетрезвые. Может быть, он бывший работник сцены? Может быть, даже бывший актер оперного театра? Звезда, может быть, минувших дней? У него, может быть, какой-нибудь набоб или министр увел любимую дочь или жену, и он запил, стал пропускать репетиции и в конце концов ночевать под забором рынка в Ковент-Гардене, возвращаясь на каждое представление как фантом оперы, жертва тиранов и порока, спившийся, опустившийся – но не сдавшийся? С этого момента я стал вслушиваться в его пьяные фиоритуры несколько по-другому: как в некий второй голос, контрапункт общему оперному хору. Это был голос одиночки-диссидента. Это был голос нерушимой парламентской демократии.

И тут я услышал еще один нестройный голос. Он тоже подпевал не в лад оперным звездам на экране. Но только это был вовсе не бомж, не алкоголик-дебошир. Это был вполне приличный визитер из провинции, в твиде и вельвете. Он просто понял, что петь необязательно точно в тон и в унисон. Видимо, ему тоже хотелось присоединиться к большому и чистому голосу с великой сцены легендарного оперного театра. И не ему одному. Пример заразителен. Рядом со мной, тоже не впадал, подхватил арию еще один доброволец. И вовсе не бомж какой-нибудь. В очках Гусси. Прекрасно видел, короче, что происходит. И не пьяный. Как и еще один голос, фальшивя, с другого угла площади, присоединил свой голос к фальшивым руладам. И еще один голос из задних рядов. И из передних тоже. И слева. И справа. И вот уже вся толпа распевала – вовсе не хором, в разнобой, не впадал, фальшивя, кто в лес, кто по дрова, кто с пивом, кто с сидром, кто со снетком, но, главное, – с энтузиазмом подхватывая каждый по-своему оперную мелодию. И уже непонятно, кому они подпевали – опер-

ной звезде, или же алкашу-побродяжке, первому нарушившему оперный декор?

Я отставил свое пиво со снетками в сторону. Через мгновение мой сиплый баритон присоединился к диссонансу диссидентствующих одиночек. Каждый распевал арию на свой лад. Но это уже были не отдельные фальшивящие голоса, это был хор – а хор, по определению, не может фальшивить: в отличие от одиночки в толпе, хор сам задает тон и мелодию, свою собственную, и тут не с чем сравнивать. И вот уже чуть ли не вся площадь подпевала оперным звездам с экрана, ничуть не смущаясь бездарности собственных голосов, отсутствию слуха и такта. Нас уже было большинство и нам больше не было одиноко. В свете прожекторов лица светились от счастья.

Мой костер в тумане светит

В связи с повсеместным запретом на курение в общественных местах и постепенным исчезновением спичек в быту заговорили о роли огня вообще в человеческой истории. Скажем, на рождественском обеде с философом Пятигорским рассуждали под гуся с яблоками об Инквизиции, и в частности о том, с каким рвением в Европе сжигали на кострах ведьм. Знаток охоты на ведьм (и на лисиц) Джерард МакБерни сообщил нам, что в Германии в позднее Средневековье не успевали складывать поленицы дров для костров, и население, в каком-то припадке энтузиазма, возводило штабеля дров для будущих экзекуций заранее, рядами, с индустриальным размахом, один готовый костер за другим, даже за чертой города, потому что на городских площадях уже мест не хватало. Города соперничали друг с другом (некое подобие соцсоревнования), у кого заготовленных костров больше. Философ Пятигорский считает, что популярность костров как метода борьбы с бесовщиной объясняется инквизиционными кодексами, когда даже все пыточные орудия, вроде «колеса» или «испанского сапога», изобретались и конструировались так, чтобы не пролить «ни капли христианской крови». Можно было переломать кости подследственного в мелкое крошево, но при этом ни одной ссадины на его теле не было. Бескровность казни на костре была гарантирована, особенно если расшуровать дрова как следует и

добиться крайне высокой температуры. Тело начинает плавиться изнутри, как яблоки в жаренном в духовке гусе. Затем кровь с телесным жиром вспыхивает как керосин.

В Средневековье у них еще не было гигантских духовок вроде мартеновских печей. Или газовых. С моей точки зрения, популярность казни на костре объясняется не особой ненавистью к ведьмам или евреям, не какими-то инквизиционными кодексами и запретами на пролитие крови, а притягательностью самого ритуала разжигания костров, печей, каминов. Эта страсть глубоко коренится в человеческой природе, в сознании, потому что костер – это ритуал коллективного действия, это и есть круг, кольцо, клан, осененный общим светом, греющийся одним жаром. Вспомним пещерный быт: усталые мужчины возвращаются с тушей мамонта, и начинается первобытное барбекю. Вспомним кострища язычников с шаманскими плясками. Или Геенну Огненную. Пионерские костры с пением патриотических песен или сжигание еретических книг. Костер, короче, это душа коллектива. Это общий котел и свальный грех. А чем подкармливают пламень костра – дело второе. Иногда костями мамонта, иногда ведьмами или евреями. Люди ищут топлива, чтобы согреть коллективную душу, запутавшуюся в тумане неверия.

И в этом смысле люди косо смотрят на тех, кто отделяется от общего костра, а еще того хуже: кто заводит свой собственный костер. Керагаз можно было оправдать семейными нуждами. А вот сигарета – это вопиющий пример недопустимого анархического индивидуализма. Сигарета – это мини-костер индивидуального пользования, его зажигают и гасят когда захотят. В наш век фальшивого, фиктивного коллективизма эти очаги независимости вызывают всеобщее раздражение. Вот почему курение повсеместно запрещают. Курильщиков изгоняют из помещений. Ходят слухи, что скоро запретят курить во время разговора по телефону: дым, теоре-

тически, мол, может распространяться и по волокнам телефонного кабеля. Скоро нельзя будет выйти в Интернет с сигаретой во рту. Курящие – новые парии нашего общества. Я вижу их на улице, во дворах под открытым небом. Их изгоняют из собственного дома, со своего рабочего места в учреждениях и на заводе. Они собираются в любую погоду кучками, стоят, вжав плечи, чтобы не привлекать дымом внимание прохожих. Но друг друга они узнают вне зависимости от возраста, расового происхождения, должностного положения. Это новое братство. Новая секта. Это – новая религиозная идея, столь же мощная и всеми презираемая, как в свое время и идея единобожия. Этот индивидуальный костер – столь же революционен по идее, что и Бог в виде огненного куста, представшего в свое время лишь перед взором библейского Якова.

Именно эта идея индивидуального единобожия позволяла человеку не чувствовать своего одиночества, ощущать свою принадлежность к чему-то такому, что во вне и одновременно в тебе, что совершенно не зависит от мелких нитей, рабских связей и интриг твоего клана, класса, расы, корпорации. Но в наше время все на свете религии – от иудаизма с христианством до магометанства с буддизмом – уже давно стали частью этого самого кланового, классового, расового быта, кадрового состава учреждения. Все религии, кроме, пожалуй, именно этой странной секты курильщиков – свободной и бунтующей, готовой страдать, но не смиряться, чье существование до сих пор – вызов обществу, и чья суть столь же неуловима, как и в свое время библейская идея, поскольку суть эта – дым, выпускаемый в воздух: сизый, легкий, надмирный и вездесущий сигаретный дым. Бог, дух, дым. Библейский огненный куст в сигаретной пачке. Религия, конечно же, есть опиум. Или никотин. И не только для народа. Для всех классов и кланов. И это раздражает религиозников из привилегированных костровых коллективистских культов. Эти коллективисты

втайне завидуют курильщикам, их независимости и наплевательству. Как завидую и я. Я бросил курить лет десять назад. У меня стали отказывать легкие. Не выдержал, короче, акта подвижничества. Что подтверждает мою атеистическую сущность. На том свете я буду гореть как сигарета. В аду.

Вооруженный зрением диких ос

Мало кому приходит в голову обращать внимание на заурядную галку, сидящую на крыше. Или на дереве в парке. Но ничто не может сравниться по изобретательности с параноидальностью политических диссидентов. Они видят подслушивающие и подглядывающие аппараты в самых невинных объектах окружающей действительности. Это они придумали пословицу: «Стены слышат». После истории с болгарским отравленным зонтиком двадцатилетней давности можно ожидать чего угодно от кого угодно. Особенно в лесной местности. Наш районный лесопарк Hampstead (мне нравится транскрибировать название этого района как Хамстыд: так оно, кстати, и звучит) в фешенебельно-либеральном сердце Лондона всегда был центром полуподпольной активности. Тут в кустах, кроме грибов, всегда встречались дуэлянты, шпионы и сексуальные меньшинства. Между ними прогуливались радикальные мыслители. В нашу реакционную эпоху они прогуливаются в основном молча.

«Левый фронт продался лейбористскому правительству», сказал мне шепотом мой добрый знакомый Тарик Али. Мы повстречались на прогулочной тропинке, где совершает воскресный моцион местная творческая интеллигенция. Вокруг бушевали всеми цветами радуги рододендроны и жужжали пчелы. Или осы. «И поэтому в стране нет ни оппозиции, ни инакомыслия». То есть, ко-

нечно, кроме нас с Тариком. Тарик Али в свое время закидывал камнями американское посольство в Лондоне в знак протеста против войны во Вьетнаме. Теперь он перекидывается лишь словами с единомышленниками. Вскоре к нам присоединился еще один такой. Кон-Бендит, парижский бунтарь, если не ошибаюсь. А может быть, ошибаюсь. Нас не представили, потому что вокруг нас тут же возникла атмосфера политической фронды и подпольщины. Он лишь упомянул, что тоже, вместе с Тариком, забрасывал камнями американское посольство. «А теперь протестовать некому», сказал Кон. Встреча происходила в самом начале балканской бомбежки. Было видно, что он страшно возбудился от этого ностальгического ощущения нелегальной оппозиционной маевки. «Левый фронт продался лейбористскому правительству», сообщил он нам конфиденциально. Популярная, как оказалось, точка зрения. «А по закону сообщающихся идеологических сосудов советская власть перекочевала из России в Европу», выдвинул я свою теорию нынешнего морального бандитизма европейцев. «Непонятно, кого теперь закидывать камнями?» с библейским отчаянием в голосе спросил Тарик. В Париже мостовые выложены булыжниками. Но где Тарик находил камни в Лондоне? Экспортировал из Парижа? С помощью камней древние иудеи расправлялись с преступниками Моисеева закона. Сейчас неясно, какой закон кто нарушает.

Опытный заговорщик, Кон-Бендит стал убеждать нас, что американские бомбардировщики всю дорогу летали на одной высоте, а югославы на другой, и эту дистанцию соблюдали с такой скрупулезностью, что налицо явный сговор. Расставив локти, он показал нам, вода ладонями параллельно в воздухе, как американский бомбардировщик летит на одной высоте, а югославский чуть ниже, на другой, совершенно параллельно. А почему? Старый конспиратор в два счета убедил нас, что весь военный конфликт в Югославии – это заговор индустри-

ального, военного и финансового комплекса западных держав с югославским диктатором с целью обновления мировой экономики вслед за кризисом в Юго-Восточной Азии: идея растратить как можно больше денег и разрушить как можно больше мостов и фабрик, чтобы потом было что восстанавливать и куда вкладывать деньги. Кроме того, много камней. «Но в кого же кидать камни?» снова грустно поинтересовался Тарик. Было хорошо стоять вот так вот с приятелями и разводить туры на колесах про мировые катастрофы среди зеленых лужаек и древних дубов, рододендронов, птиц и пчел. «Надо закидывать не камнями, а деньгами», изложил я свою старую идею прекращения конфликта на Балканах. Каждый вылет американского бомбардировщика стоит около 800 тысяч долларов, а таких вылетов было чуть ли не миллион. Представляете, какая это гора денег, если разменять всю эту сумму на однодолларовые купюры? Эти бумажки надо сбрасывать на головы вооруженным сербам и другим сторонам конфликта в стратегически избранные моменты и в определенных точках фронта. Можно, таким образом, манипулировать перемещениями войск противника и направлять потоки беженцев в нужном направлении без всякого кровопролития. Нет никакой нужды в наземных войсках НАТО. На втором этапе, вслед за мешками денег, надо сбрасывать с воздуха американских туристов. Приземляясь в стане сербов, они должны вручать те же долларовые бумажки, но уже лично, обмениваясь с враждебно настроенным населением дружеским рукопожатием – в качестве гуманного жеста доброй воли.

Пока я все это излагал, моя рука совершала совсем иной, довольно агрессивный жест: я отмахивался от осы. Она как будто повисла в воздухе неподвижно между нами троими; как бы я от нее ни отмахивался, оса не улетала, а лишь перемещалась с одной высоты на другую попеременно – так сказать, с уровня американского бомбардировщика на югославский этаж, и обратно – и

вновь застывала на месте, как будто пристально всматриваясь в наши лица. Или вслушиваясь в наши голоса?

«Это микрофон. Нас подслушивают» вдруг сказал Кон-Бендит без тени иронии. «Пошли», сказал он Тарику, и оба, не попрощавшись, разошлись в разные стороны. Я остался, продолжая отбиваться наедине от назойливой осы. Со стороны я был явно похож на сумасшедшего, разговаривающего с самим собой.

Вобла и террор

Были ли вы когда-нибудь свидетелем того, как при скоплении уважаемой публики раздирают на части задохший труп животного и при этом запах трупной гнили распространяется на всю окрестность? Значит, вы не присутствовали при поедании русской воблы на английской лужайке. У каждого народа в меню есть продукт вроде воблы: некая кулинарная дрянь – публично все над этим продуктом питания издеваются, но периодически каждый тайком, с ностальгической дрожью и жадностью, этот продукт пожирает. Все телесные наслаждения в жизни, не исключая желудочных утех, связаны с некой грязнотой и неприличием. Мы все помним историю о том, как англичанин вез французский сыр в набитом битком поезде и как его купе постепенно освобождалось из-за соответствующего запаха этого изысканного продукта. Но у всякого подобного деликатеса вроде рокфора, с тухлей и червячком, всегда есть его близнец или двойник, рожденный обычно в годы испытаний. Английские дети военных лет никогда не видели настоящего банана, а когда увидели, не знали, что его надо чистить, а очистив и попробовав, все-таки предпочли привычную «замазку» детских лет – из муки с добавлением искусственного сиропа с банановым экстрактом. Привычная фикция гораздо милее самой соблазнительной экзотики в натуре. Идея важнее ее реального воплощения. Потребление подобных продуктов – это приобщение к ге-

роике прошлого, когда англичане, скажем, с тайным садизмом стойков перепахали все лондонские парки с от-маникюренными газонами и лужайками (включая Гайд-парк) под картофельные поля, и все одной семьей, за одним столом, у одного костра, под коллективное пение делили краюху хлеба с кружкой эля.

«Мы будем бить Гитлера, пока у нас не кончатся пули, – говорил Черчилль в своем обращении к британскому народу. – А когда у нас кончатся пули, мы будем бить нацистов пивными бутылками». В этой речи как-то автоматически подразумевается, что у британцев в критической ситуации могут кончиться пули, но не пиво. Пивом нередко запивают сэндвичи, и с эпохи Второй мировой хлеб часто намазывали тогдашним кулинарным изобретением под названием «спам», солоноватым на вкус – нечто вроде колбасного фарша промышленного производства, когда в мясорубку загонялось все, от кишок до свиных копыт. Этот ностальгический продукт, как и все подобные изыски эпохи тотального дефицита, можно употреблять не обязательно с кулинарными целями: этот самый «спам» засыхает и твердеет не хуже цемента, так что его можно использовать в строительном деле. (Как, например, осадок в бутылке небезызвестного портвейна брежневской эпохи «Солнцедар» можно было использовать в качестве столярного клея.)

Русский человек к пиву предпочитает воблу. Русской воблой можно не только топить печь в случае дефицита дров, но и использовать ее в качестве теплоизоляции, законопатить, скажем, щели в избе. Об этом я давно догадывался. Знал я и то, что вобла – это находка для шпиона; точнее, – против шпиона. Потому что иностранец может идеально походить на русского человека во всем – в речи, в манерах, во внешности. В ЦРУ готовят в этом смысле прекрасные кадры, особенно по части сибирских мужиков. Иногда, конечно, бывают накладки, вроде по-волжски окающего негра в телогрейке. Но это – исключения, подтверждающие правило. Однако пред-

ложите такому вот идеальному русскому мужичку выпить пива, разделав при этом воблу. Маска шпиона будет сорвана в два счета: иностранец разделать и съесть воблу просто не в состоянии. Соленая вяленая рыба есть и у итальянцев, и у датчан, и у китайцев. Но все они пользуются ею в размоченном виде, в качестве добавки к рыбному супу. И только русские пожирают воблу всухую, так сказать, под пиво.

Об этом я тоже догадывался. Но я не знал, что у воблы есть еще одно стратегическое назначение – в качестве оружия массового уничтожения. Это открытие имело место во время самого мирного из общественных мероприятий – королевской регаты в городке Хенли на реке Темзе. Тут проплывали в одной лодке не только трое незабвенных друзей (не считая собаки) из комического романа Джерома. Во время регаты тут проплывает много друзей и не в одной только лодке: тут проплывают байдарки, каноэ, боты и разные другие весельные суда. На мосту и по берегам реки приветствует их разодетая толпа – мужчины в разноцветных полосатых пиджаках и соломенных котелках – с бокалами шампанского, клубникой и корзинками для семейного пикника. Это – одно из главных светских мероприятий года в Англии, и сюда собираются со всей страны. Были тут и мы со своим пикником. Он состоял собственно из пива с воблой. Ее прислали по случаю из Москвы. Четыре воблы, завернутые в газету «Известия». Мы долго бродили вдоль берега, выбирая местечко поукромнее. Нашли наконец кусты, но при этом с видом на реку. Устроились, разложили газету, открыли по бутылке пива и приступили к разделке воблы.

Когда перед моими глазами прямо в бреши меж кустов возникло лицо капитана команды гребцов узкой длинной многовесельной лодки, моя жена Нина Петрова умело раздирала воблу на две половины. Серебром отливали широкие клочья чешуи, хребет светился в лучах солнца тусклым янтарным отблеском, аромат вяленой рыбы наполнял знойный воздух и щекотал мои ноз-

дри, дразнил пересохшее небо, и я сделал большой глоток пива перед тем, как вгрызться зубами в воблину голову, отрывая холку, отдирая жабры. Я урчал, с наслаждением обсасывая и выплевывая всю подноготную лакомых кусочков.

Нетрудно вообразить, что представилось взору этого самого лидера английских гребцов. И что уловил его нос. Я упоминал уже образ разодранного на части гниющего трупа. Я могу лишь сказать, что его лицо напугало меня. Он застыл, как парализованный, на корме: его рука была вздернута вверх, все еще отмахивая ритм вздымающихся весел, но выпученные глаза уже остекленели. Рот был тоже открыт от изумления. Следуя его обезумевшему взгляду, в нашу сторону повернулся кое-кто из гребцов. Их весла застопорились в воздухе, столкнулись с веслами других, и через мгновение с паническим воплем вся команда посыпалась в воду, а их многовесельное судно опрокинулось вверх дном, перегородив водные пути всем тем, кто следовал за ними, – всем байдаркам, каноэ, ботам и т.д. Слышались крики, треск и гам, всплески, ругань. Мы быстро свернули газету с остатками воблы и тихонько ретировались.

Надеюсь, никто не утонул. Сообщений в газетах на этот счет не последовало. Так или иначе, королевская регата в тот день была сорвана. «По мистическим» (согласно очевидцам) обстоятельствам. Но мы-то знаем: благодаря вобле. Можно представить себе, что начнется, если затеять разделку воблы, скажем, на тротуаре главной торговой улицы Лондона, Оксфорд-стрит, где автомобили едва умудряются маневрировать между автобусами, а пешеходы – между автомобилями. Или, еще лучше, начать чистить воблу на взлетной площадке британского аэропорта. Вобла, короче, вполне может заменить по своей эффективности бомбу террориста. Надо поговорить с ирландцами.

Водка по-исламски

В знак солидарности с запуганным мусульманским меньшинством Великобритании я отправился в марокканский бар в подвале ресторана по соседству. Сам этот ресторан я, вообще-то, посещать никогда не советовал: тут расчет на богемно-фешенебельные увлечения лондонской публики восточной экзотикой – со стульями из витого железа (сидеть невозможно), с разноцветными фигурными свечами и разными другими финтифлюшками, и вполне приличной, но крайне дорогой едой, вроде марокканского кус-куса из бараньей лопатки, ног и других частей животных. Однако посетителей бара в подвале при этом ресторане привлекали сюда ноги или бедра отнюдь не из бараньего кус-куса.

Бар этот был открыт до часу ночи официально, а по сути чуть ли не до утра, и меня давно манила сюда несколько диковатая музыка: смесь мелодики муэдзина с женским контральто в вариациях с ритмами рока. Исламский рок-н-ролл, короче. Когда я спустился по ступенькам в бар, солидарность с мусульманским меньшинством была в самом разгаре. В углу среди диванов и подушек исполняла танец живота девушка-панк в рваных джинсах, и ей аккомпанировала хлопаньем в ладоши компания пестрого этнического состава. Я наблюдал за этим у стойки бара, заказав свой регулярный дринк: водка со льдом, куда я выжимаю и бросаю пару долек лайма (горького зеленого южно-американского

лимона). Этим моим напитком заинтересовался гражданин ближневосточной внешности, стоящий рядом. Заказал ради любопытства то же самое. Понравилось. Заказали еще.

Разговорились. Он, оказалось, экспатриант из Ирака. Выглядел он как мелкий лавочник из этого региона: огромный живот, толстый нос, вечная небритость. Но на редкость правильно пил водку, несмотря на, казалось бы, мусульманские запреты. Он сострил, что Магомет запрещал пить вино, а водка в Коране не упоминается. Не запрещено, значит, можно. Как раз перед визитом в марокканский бар я смотрел по телевизору документальный фильм о Багдаде и об иракской интеллигенции. Ожидаешь увидеть нечто вроде Саудовской Аравии, где за мелкое воровство отрубает руку, а за рюмку водки стегают прилюдно плетьюми на площади. А тут видишь Багдад, похожий на брежневскую Москву, с десятками кафе среди крупноблочных домов, огромные прокуренные квартиры, где интеллигенты-диссиденты во время шумного застолья разглядывают альбомы Пикассо и Босха и обмениваются книгами Сартра и Камю. Я был в восторге от этих ностальгических параллелей в географии и эпохах разных стран и народов. Мне нравилось, что я смог найти общий язык с простым иракцем, и как тонко я подаю в разговоре с этим представителем отсталого мусульманского мира то ощущение амбивалентности, которое захватывает тебя перед лицом диктаторского восточного режима, где люди жаждут внутренней западной свободы, – ощущение, столь общее и для саддам-хусейновского Багдада, и для брежневской Москвы. Мой собеседник с энтузиазмом подхватывал мою мысль.

«Yes, yes!» восклицал он и повторял: «baktyn!» Слово «бактын», с ударением на «а», означало, наверное, побагдадски что-то утвердительное, вроде «вот именно!» или, скажем, «совершенно точно!» – «бактын!» Продолжая мою мысль, он сказал, что именно эта самая зер-

кальная амбивалентность Востока в российском Западе и Запада в иракском Востоке и объясняет, почему «бактын» в переводе так популярен среди иракской интеллигенции.

«Кто-кто?» переспросил я.

«Бактын», повторял мой собеседник. «Михаил Бактын».

Я стал медленно, но неуклонно краснеть. До меня дошло, что тот, кого я принимал за иракского лавочника, имеет в виду Михаила Бахтина, легендарного российского филолога, создавшего философию карнавальности мира и амбивалентности верха и низа в площадном искусстве. Оказалось, что я говорю с самым крупным специалистом по русской философии и главным переводчиком Михаила Бахтина в Ираке. Как многим иракским интеллигентам, ему удалось перебраться в 60-е годы в Москву, а оттуда, уже в 70-е годы – на Запад, в Лондон, куда попал в те же годы и я. Он прошел ту же, что и я, школу российской интеллигентской трепотни под водку.

На прощание он сказал мне, что исламский рок-н-ролл в баре вовсе не исламский: это рок-вариации мелодий алжирских евреев. Этим лондонским заведением владели, оказывается, израильтяне марокканского происхождения. Недавно ресторан закрылся.

Между костром и торшером

Русское застолье, как ритуал, по занудности сравнимо лишь с церемониальным ужином при французском дворе и, одновременно, воплощает в себе самые постылые формы российской соборности: тут есть что-то и от партийного собрания, и от православной службы, и от сцен публичного пьяного раскаяния на площадях. Впрочем, я не совсем прав насчет богослужения: в православной церкви все стоят, а русское застолье – занятие принципиально сидячее. В то время как в англиканской, скажем, церкви, все сидят, а самая распространенная форма светской жизни в той же Англии – это party, то, что называлось когда-то по-русски «коктейли», а в народе всегда было известно как «стоячка». Так что неизвестно, что на кого повлияло.

При всей, казалось бы, видимой свободе слова и перемещений, в вольной «стоячке» есть свои подлые моменты. Во-первых, масса полужнакомых людей, и поэтому никогда не уверен, как кого зовут: надо все время обращаться к человеку, избегая называть его по имени. Это особенно сложно, когда нужно представить друг другу двух шапочно знакомых тебе людей, имен которых ты не помнишь. Но главный патологический аспект такого рода мероприятий состоит в следующем: даже если ты сумел завязать разговор с незнакомым человеком в светской толкучке, ты никогда не уверен, слушает ли он тебя, скучая, ради вежливости, или же это как раз

именно ему некуда деться, а ты, тоже ради вежливости, боишься оскорбить его невниманием и торчишь рядом, продолжая нелепый светский разговор? Взгляд собеседника бегаёт: он выискивает старых знакомых, новые связи. И твой взгляд тоже блуждает. Еще мгновение, и уста раскрываются в классической реплике: «Простите, одну минуточку», – и твой собеседник (или ты сам) устремляется в другой конец зала. Только успел разговариваться с человеком, пошел за порцией алкоголя – для себя и для него, возвращаешься, а человека уже нет.

В такой толпе всегда кажется, что самый интересный разговор идет где-то еще, в каком-то другом кружке, группке, толкучке где-то в углу, куда уже не пробраться. Все мы верим, что есть где-то некий такой центр всего на свете, куда нас не пригласили, что-то такое главное, к чему мы не принадлежим. А принадлежать мы хотим. Как говорит замечательный русский философ, моя жена Нина Петрова: «Мы больше самих себя».

Есть два кардинально различных принципа общения. Первый – это костровой принцип. Вокруг котла сидят друзья-товарищи, братья-соплеменники, дяди и племянницы, рассказывают друг другу байки, делают детей. Иногда кто-то уходит на войну, в тюрьму или на тот свет, но костер продолжает гореть, светить в тумане, и хотя искры и гаснут на ветру, вокруг него продолжается хорошее действие. Люди меняются, но клан остается. Эта идея костровища – в основе русской соборности.

Но есть идея общения по принципу электрической лампочки: зажег торшер, собрал party-стоячку, покрутился с коктейлем в руке, потом все разошлись, остался один, выключил лампочку и лег спать. Как будто ничего и не было. А на завтра – начинай все сначала. Мы стремимся к полной независимости друг от друга и одновременно к потенциально бесконечным связям с другими. Мы хотим одновременно быть вместе и по отдельности. В результате наше общение напоминает виртуальную реальность в Интернете: ты связан со всем миром, но

сидишь в одиночестве. Ощущение подобной близости настолько искусственное и эфемерное, что подлинность общения можно почувствовать лишь в любви. Но любовь – это состояние полной одержимости влюбленных друг другом, это – тоталитарный режим (хочешь демократии и плюрализма – иди в диско), что опять же исключает дружеское братство и теплоту запанибратства. И мы пускаемся в другую крайность: приглашаем друзей, запираем двери, зажигаем камин, садимся плотно плечом к плечу за стол, и... ужасаемся тюремности подобной соборности.

Даже в манере одних зашторивать окна (как в английских пабах или русских ресторанах, где окон практически нет), а других – все выставлять напоказ (как у французов в кафе или у голландцев в доме), проявляется все та же дихотомия, раздвоенность человеческого темперамента. В этом смысле, самое удивительное мероприятие – это коктейли в английском саду. Под садом я имею в виду небольшую лужайку – газон с несколькими кустами и деревьями английского городского дома террасной застройки. Такие дома отделяются друг от друга не очень высокими каменными заборами, да и сами дома часто разделены на квартиры. Так что при формальной приватности этой лужайки все происходящее на подобных сборищах – достояние чуть ли не всех соседей в округе. В этом – прелестная двусмысленность и фиктивность этого интима: ты на публике и одновременно среди своих. Но все-таки изначальное впечатление – полная отделенность от остального мира.

Именно так чувствовали мы себя однажды на лужайке моей приятельницы Лиз Уинтер в присутствии нашего общего знакомого, ныне покойного поэта Иосифа Бродского. Он только что получил Нобелевскую премию и много и охотно рассуждал о разных типах лауреатов этой награды. Все его внимательно слушали. Публика была избранная. Выпивали, сгрудившись под солнечным зонтиком. Все оказались зажатыми вокруг

места раздачи напитков – там был выставлен небольшой столик, протолкнуться к нему было довольно трудно. Но делали вид, что стоим свободно и раскованно. Даже в набитом битком вагоне метро англичане умеют стоять так, как будто они наблюдают в одиночестве закат на лужайке своего собственного дома.

Пели птички. Они сопровождали голосу Бродского. Поэт вот уже полчаса, не останавливаясь ни на секунду, проводил ту мысль, что Нобелевская премия дается не просто человеку, а представителю целого мыслящего клана, духовного направления, соборного духа. И поэтому премию получил не Джойс и не Эзра Паунд, а Сэмюэль Беккет: «Эзра так и сказал: наконец-то НАМ дали Нобелевскую премию!» Не думаю, что на подобную награду мог рассчитывать в тот год один из присутствующих – модный писатель Алан Холлингхерст: в том месяце он выпустил роман о том, что Британская империя была создана только потому, что английской гомосексуальной элите не хватало мальчиков, вот они и стали завоевывать заморские страны. Не думаю, что я оказался в Англии как бывший представитель советской империи по тем же соображениям. Но в духе импровизированных идей в атмосфере светской «стоячки» я довольно смело решил перенести методу Холлингхерста с гомосексуального видения мира на другие необычные формы миропредставления. Например, связанные с формой позвоночника. Он у меня довольно сильно искривлен (подростковая травма). Я высказал Холлингхерсту идею о том, что искривленный позвоночник резко искажает и мое представление о человеческой истории: я, например, не люблю Средневековья – не из-за мракобесия инквизиторов, а из-за готической мебели, с мучительно неудобными жесткими спинками кресел. Я принялся развивать эту идею полупшепотом – на фоне бубнящего за спиной голоса Бродского.

И тут я вижу, что у Алана Холлингхерста глаза лезут на лоб. Я испугался: неужели, думаю, он решил, что я ос-

корбительно сравниваю свой искривленный позвоночник с его гомосексуальностью – как бы с неким физическим ущербом? Но еще через секунду я понял, что смотрит Алан не на меня, а сквозь меня, мне за спину. Я обернулся, прослеживая его взгляд, и глаза у меня тоже стали ползти куда-то не туда.

Наша лужайка отделялась от соседнего дома каменным забором. Через этот забор перегнулся сосед: твидовый пиджак, трубка, очки, седые патлы. Он гневно размахивал трубкой. Он тыкал ею в воздух. Он тыкал в сторону Бродского. Но Бродский стоял к забору спиной и соседа не видел. И не слышал. Он продолжал свои захлебывающиеся каденции с названием великих имен – Эзра (Паунд), Джим (Джойс), Сэм (Беккет) – великие люди друг с другом, естественно, на ты: Шурка Пушкин, Федька Достоевский, Тошка Чехов. Наконец сосед не выдержал и закричал: «You! You!» Бродский удосужился обернуться на эти вопли. Громким занудным голосом сосед произнес педагогическое внушение Нобелевскому лауреату, которое сводилось к следующему: «Я стою здесь, сэр, вот уже добрый час, сэр, и слышу исключительно, сэр, Ваш голос. Это занудство. Вы иногда, сэр, должны дать возможность и другим вставить слово. Сэр!»

И он скрылся за забором. Мы услышали, как проскрипели его кожаные туфли по дорожке к дому. Потом демонстративно громко хлопнула дверь. В наступившей тишине щебетали птички. Знал ли этот сосед, что он отчитывает, как мальчишку, Нобелевского лауреата? Неизвестно. Прелесть английской садово-светской жизни в том и состоит, что ответ на этот вопрос не важен: тут можно вступить в литературный диспут без приглашения, нарушив видимость интима, перегнувшись через забор, без всякого представления о том, кто в этом году получил Нобеля, а кто Букера.

Стокгольмские воззвания

Судьба одних – рабыня политической истории. Другие же сами создают политические события, чтобы изменить географию личной жизни. Я посетил Нобелевский комитет в Стокгольме, поскольку радиостанция Би-би-си недорастратила свой годовой бюджет (конец финансового года – в апреле), а недорастраченные фонды надо срочно тратить, иначе новые в будущем году растрачивать не дадут. Цены в Стокгольме дикие, как будто исключительно для Нобелевских лауреатов. Так что бюджетные надежды Би-би-си я оправдывал сполна. Особенно в свете цен на алкоголь. Летом, как мне сказали, в Стокгольме все жуют раков с пивом – от хруста ничего не услышишь. Я же попал в Стокгольм в марте, а ранней весной на стокгольмских улицах трудно что-либо услышать из-за совсем иного хруста. В Москве и Лондоне тротуары посыпают солью, чтобы снег таял. От этого обувь становится белесой. В Стокгольме обувь портят по-другому: тут улицы посыпают черным песком-гравием под названием «грит» – такая мелкая твердая крошка, она хрустит под ногами прохожих так, будто жуешь печенье. На расстоянии шага уже ничего не слышишь. Просто грохот в ушах. Любопытный звук, особенно когда готовишь радиопередачу про Стокгольм.

Я все же предпочитаю Север – Югу, особенно в связи с черной дырой в небе и глобальным потеплением.

Кто может ясно мыслить при таком количестве солнца, как в Италии? Они способны лишь петь. Даже любовь у них – сплошная опера, то есть показуха. Люди Севера, может быть, и застегнуты на все пуговицы, но когда дело доходит до постели, они обнажают себя до конца. В то время как люди Юга появляются на публике в полуодетом виде, но в интимной ситуации способны лишь на костюмированную мелодраму. Может быть, это спорное утверждение, но брючные молнии они производить не в состоянии. В этом я убедился на собственном опыте, когда посещал Шведскую академию и зал, где объявляют лауреатов Нобелевской премии. Наш гид (по имени Гораций, кстати) подробно объяснял нам идею власти интеллекта среди шведов над властью государства (король, скажем, продолжает скромно стоять, когда члены Академии удаляются на совещание). В этот момент моя помощница (с микрофоном в руке – фрейдистский, заметьте, символ) стала панически вращать глазами. Она явно пыталась мне что-то сказать, и когда нобелевские куранты стали отбивать свои тринадцать ударов, ей удалось прошептать мне в ухо: «Застегни молнию на брюках!»

Как мне теперь оправдываться перед Нобелевским комитетом? «Сон Попова» в чистом виде: явился на бал без штанов. То есть, я явился на встречу в шикарных брюках итальянского производства. Откуда мне знать, что брючные молнии у них такие же чувствительные, как оперные герои. Вот и стоял по-итальянски: с эмоциями нараспашку. Наш гид говорил по-русски и прекрасно знает идиоматическое выражение «с прибором класть на это дело». Но я ничего такого не имел в виду. Я, наоборот, в тот момент собирался льстиво отметить парадоксальную страстность северного темперамента: Альфред Нобель, человек, учредивший Премию мира, был тем, кто придумал динамит. Сейчас я могу лишь повторить, что итальянцы не смогли придумать толковой брючной молнии, zipper оказался с дефектом, и это, воз-

можно, раз и навсегда подорвало мои шансы получить какую-либо Нобелевскую премию.

В юности мало кто думал о том, кто такой Нобель и что это за премия, если не считать скандального эпизода с «Доктором Живаго». В юности нас пичкали, скорее, Стокгольмскими воззваниями и конгрессами по борьбе за мир по инициативе Эренбурга. Почему Стокгольм? Ему что, не давала покоя Нобелевская премия мира? В северных столицах, однако, не все так очевидно, как в итальянских брюках с испорченным zipperом. Я оказался в Стокгольме 19 марта – в день, когда было подписано первое Стокгольмское воззвание. Мой гид рассказал мне, что в тот мартовский день, 19 марта 1950 года, Эренбург познакомился в одном стокгольмском доме с Лизлоттой Мейер, женой, если не ошибаюсь, бургомистра. Ей было около тридцати, Эренбургу за шестьдесят, но у них начался бурный роман, который длился вплоть до смерти Ильи Григорьевича. Что об этом думал муж, никто не знает. Но советская власть об этом явно догадывалась. В 50-х годах выезжать часто за границу было трудно даже Эренбургу. Поэтому он и раздул свою стокгольмскую инициативу по борьбе за мир до всемирных масштабов: чтобы можно было регулярно ездить в Швецию на свидание с Лизлоттой. Он изменил ход политической истории, чтобы поезд останавливался на нужном ему полустанке.

«Вместо голубей в Стокгольме – чайки». Это точное наблюдение Эренбурга в его печатных отчетах о Стокгольме. Имя Лизлотты там едва упоминается. Он знал, что о великой любви надо молчать. Вместо голубей мира он отметил чаек. Все-таки не следует забывать, что Стокгольм – это город Стриндберга, где женщины режут вены из-за несчастной любви. И гагары тоже плачут. Не знаю как насчет буревестников, но чайки кричат страшно, как женщины в порнографических фильмах.

История с брючной молнией и с Эренбургом привела меня в состояние какого-то странного возбуждения,

почти эротического беспокойства. Я бродил вдоль каналов, и мартовская вода была чернее моих мыслей. В отеле я стал «прыгать» по телеканалам, пока не выскочил на порнографию. Это был коммерческий, платный канал: пока не заплатишь по абонементу, изображение намеренно искажено, с помехами, и главное – в негативе: черное становится белым, а белое – черным. Но общие контуры просматривались, и я с ужасом наблюдал, что исторгнутое мужчиной семя было совершенно черным. Мой ужас длился недолго: ведь я видел все в негативе, как если бы в рекламе Гиннеса пена в кружке стала бы черной, а само содержимое – белым.

Голос за спиной

На днях вместе с русским гостем из Нью-Йорка я зашел купить бутылку виски в магазине за углом, рядом с моим домом, на England's Lane (Английский переулок). Стояли перед полками и рассуждали, как взвинтились за последние годы цены на бурбон. Продавец поглядел на нас внимательно и сказал по-русски: «У нас на бурбон сегодня хорошая скидка – три бутылки ценой как за две». Бутылка получается на треть дешевле. Продавец оказался Семеном из Майкопа. Такого в Лондоне не ждешь. Это тебе не Нью-Йорк и не Тель-Авив. Так, во всяком случае, было в недавнем прошлом. По крайней мере, в нашем районе. Это же не Бонд-стрит для жен и детей олигархов.

Однажды, в 70-е годы прошлого века, когда русскую речь в Лондоне мне случалось услышать лишь на Би-би-си, я шел по главной торговой улице фешенебельного Кенсингтона, где размещаются, кроме всего прочего, и все посольства, и вдруг за спиной прозвучала размеренная, как бой курантов, фраза: «С Иван Ивановичем пора кончать». Это было первое для меня – за четыре года пребывания в Лондоне – звучание русского голоса на улице. Я продолжал идти, не замедляя шага. От затылка вдоль спины – по линии страха – тут же поползла струйка пота. Что мне было делать? Сообщить ближайшему полицейскому, что в советском посольстве готовится покушение на некоего Иван Ивановича? Но «кончать» –

слово двусмысленное. Уверен ли я, что правильно понял этих двух моих соотечественников? Может, Иваныча просто уволить собираются? Но в тот момент как раз важнее всего и было сделать вид, что я их не понимаю. Иначе я оказался бы у них на очереди – прямо вслед за Иваном Ивановичем. Меня, однако, поразила и их уверенность в собственной безнаказанности: они были явно убеждены в том, что кругом ни единая душа не понимает по-русски. Мол: кому нужен наш варварский язык и кого колышет, что будет с Иван Ивановичем?

Русской речи на улице в те годы не должно было быть, а если она вдруг и звучала, то от нее надо было шарахаться. Это моя дочь научила меня узнавать в Хэмпстедском парке советских детей из торговой миссии неподалеку: в зимние месяцы, какова ни была бы погода (а в январе в Лондоне бывает и градусов десять тепла), советские дети были всегда в меховых шапках. Натренированным глазом ты учился различать в толпе своего бывшего соотечественника – чтобы держаться от него подальше. По крайней мере, иметь возможность подслушать, как и что он говорит, чтобы решить: свой или не свой, наш или нет, рискнуть поздороваться или тихонько улизнуть со сцены.

С годами рос страх, что тебя могут опознать «свои», и тогда от них не отделаешься. Как мы вздрагиваем до сих пор в лондонских гостях, когда английские хозяева сообщают радостно: «А у нас сегодня будет ваш соотечественник, вам будет любопытно». Это – страх перед неприятными родственниками, перед чужой компанией, перед прежним политическим врагом, скрывающимся за маской соотечественника. Но во мне еще и страх, что тебя самого могут принять не за того, страх за собственную репутацию в глазах других.

Поглядите, как прохожий (неуловимо знакомой внешности) останавливается у лондонского газетного киоска, чтобы купить печатную продукцию. Перед тем как вытянуть экземпляр со стенда, он непременно пару

раз инстинктивно оглянется – незаметно оглянется, почти неосознанно, как будто покупает порнографию. Но это не порнография. Это газета или журнал на русском языке. При всей неосознанности, этот жест скрытности как будто заучен с детства, он у нас в крови. Это жест страха перед другими на улице: а вдруг кто-то со стороны увидит, что ты из России?

Тут ощущение собственного происхождения как некой позорной тайны, отделяющей тебя тавровым клеймом от остального человеческого стада. Так было и в эпоху белой эмиграции, при большевиках. Я вижу Андрея Белого (из воспоминаний Ходасевича) в вагоне берлинского трамвая, когда он втолковывает нечто символически-заумное на ухо собеседнику шепотом по-русски, в то время как проклятия германской нации сообщались как бы по секрету, но – громким голосом по-немецки. Я знаю одну эмигрантскую пару: когда они ругались, даже у себя дома, они всегда переходили на другой, иностранный, язык. Как будто за границей все, что по-русски, нужно держать в тайне.

Русская речь в Лондоне ассоциируется для меня с тем же, что для многих – собственное еврейство, то есть со страхом разоблачения. На ум приходят слова: ущербность, неполноценность. Но как только эта тайна вышла наружу и деваться уже некуда, когда ты узнан и опознан, начинается обратный ход: горделивая поза отверженного, плохо скрываемая обидчивость. В отношении к родной русской речи мы испытываем некую смесь арабского стыда и еврейской вины: ты за все в ответе – и за Сталина, и за русскую мафию. И за русский символизм.

Радостно, однако, сознавать, что по аналогии с белоэмигрантами меня следует называть «красным эмигрантом»: страна, из которой я уехал, краснзнаменная Россия, больше не существует. Мои комплексы – это наследие мрачного дореволюционного прошлого. Поэтому мы так спокойно и обсуждали цены на бурбон с

продавцом Семеном из Майкопа в нашем лондонском винном магазине за углом. У Семы никаких комплексов в публичном общении по-русски не было. И в отношении торговли – тоже. Он тут же продал нам одну бутылку бурбона по цене на треть дешевле, как если бы мы купили три бутылки этого спиртного – за что и полагалась бы скидка. Он это сделал очень хитро и одновременно просто, путем загадочного маневрирования с электронной регистрацией купли-продажи, но как – сказать трудно, да и не надо, пожалуй, выдавать чужих интимных секретов. Мы ведь с ним как-никак соотечественники, все у нас – на доверии. Тем более, я в этот магазин не в последний раз захожу.

Когда мы вышли из магазина и завернули за угол, я вдруг услышал у себя за спиной: «С Иван Иванычем пора кончать». Я снова вздрогнул. Привычка. Но это был другой голос, не тот, что зловеще прозвучал тридцать лет назад рядом с советским посольством. То есть голос, вполне возможно, был тот же (разве что постаревший за эти годы), но имел он в виду совершенно не то, что вы думаете: этот голос принадлежал новой, перестроившейся России, откуда в Лондон прибывают люди, которые говорят по-русски на лондонских улицах без всякого смущения. И не только говорят. С Иван Иванычем, я чувствую, скоро будет покончено раз и навсегда.

Впрочем, я так и не услышал, что ответил голосу за спиной его невидимый собеседник – ни тридцать лет назад, ни сейчас.

Чужие среди своих

На эстраду в центре площади взобрался вальяжный мужчина лет пятидесяти с лицом модной небритости и сказал в микрофон многотысячной толпе, что за эти двадцать пять лет он повидал много чужих людей – добрых и злых, веселых и грустных, талантливых и бездарных, богатых и бедных, щедрых и скупых, и только здесь, сейчас, он, наконец-то, среди «своих!» Забыл упомянуть, что всё это публичное признание (если не покаяние) было в рифму (их-чужих-скупых-своих) четырехстопным дядей «самых честных правил». Этому ямбу предшествовала не менее ностальгическая маршировка со сменой караула кремлевской гвардии под завихрения искусственного снежка, краснознаменный ансамбль запевал «калинку», чеченцы отплясывали интернациональный гопак с чукотскими запевами. Потом грянул гимн российской державы под бой кремлевских курантов. Этот бой можно было спутать с часами Биг-Бена неподалеку. Потому что дело происходило на Трафальгарской площади в Лондоне. Празднование Старого Нового года российским бизнесом – от Газпрома до администрации Путина.

Именно туда, в сторону Биг-Бена у Темзы, отвернувшись от толпы у него под ногами, глядел одноглазый и однурукий адмирал Нельсон на колонне посреди площади. Уже второй год подряд отворачивается. В про-

шлый раз рядом с колонной болтался в ветреном лондонском небе гигантский баллон с рекламой «Аэрофлота» и бил своим резиновым пенисом по каменному лицу Нельсона. Чтоб не отворачивался, гад, от праздничной толпы народа внизу. Казалось, он потерял свой глаз и руку не в трафальгарских битвах, а сражаясь с этой штуковиной. В этом году у него за спиной на колонне сверху вниз было написано (путем проекции светового луча) новогоднее приветствие по-русски, с орфографической ошибкой: в слове «годом» было опущено одно «о». Не буду изощряться в остроумных гипотезах. Времена другие, другие года. В углу площади под дождем таяла ледяная модель собора Василия Блаженного с Красной площади, символизируя конец холодной войны, наверное. На Пушкинской площади, нам сказали, поставили ледяной Биг-Бен. Не таял, однако.

Морозный звон кремлевских курантов с эстрады на Трафальгарской площади заглушали лишь трели мобильных телефонов: это выискивали друг друга – своих – в многотысячной толпе представители так называемой «русской диаспоры». Когда я слышу слово «диаспора» в устах телевизионщиков или посольских работников России, я представляю себе древних иудеев, скованных одной цепью, плачущих у пирамид египетских или на реках вавилонских, сгрудившихся вокруг седобородого раввина с томищем Талмуда на коленях. За этими людьми стояла страна, народ, Бог из разрушенного Храма. Жизнь бывших и настоящих соотечественников за границей всегда своего рода отражение жизни в метрополии. Как можно называть «диаспорой» россиян, рассеявшихся по разным концам мира и не желающих, в общем-то, иметь ничего общего ни друг с другом, ни со своей стороной, где уже давно распались кружки и раздружились дружки?

Загляните в газеты на русском языке в Лондоне, в том Лондоне, куда олигархи завезли тысячами свою челядь и дешевую рабочую силу, где студенты, актеры,

представители нацменьшинств и матери-одиночки пытаются заработать кусок хлеба и найти свою крышу под лондонским дождем. Загляните в страницы объявлений русскоязычной прессы, где предлагается кровать с тумбочкой в комнате на десять человек в лондонском пригороде или же уборка квартиры в комбинации с частными уроками по алгебраической топологии для ребенка с готовностью стать наложницей папаши за дополнительное вознаграждение. Где этим людям, едва говорящим по-английски, посидеть в недорогом заведении и с кем-нибудь поболтать (в Лондоне нет ни одного русского кафе), где по дешевке поесть и купить-продать, где устроиться на ночлег бесплатно и как вообще выжить в этом хаосе большого города? Кто-нибудь из газетной «диаспоры» подумал про десятки тысяч этих людей?

Эти газеты дальнего зарубежья пытаются подражать своим гламурным сестрам в метрополии. Пролистайте эту русскоязычную прессу: она переполнена подробными инструкциями о том, где можно купить самый дорогой особняк, самый крупный бриллиант и самый мощный автомобиль. Почему этим мордам, способным унюхать только кровавый запах власти, нужно все исключительно «престижное» и решительно «эксклюзивное» – все то, что уже просеяно, отобрано и аккуратно упаковано, то есть, по определению, вторично по своей сути, давно мертвое? Почему они воспринимают Запад как эксклюзивный и престижный супермаркет, где толкают свою тележку, сбивая всех по дороге? Неужели эти морды, такие охочие до жизни, не понимают, что Лондон – это не только диккенсовские пабы, Гайд-парк, двухэтажные автобусы, ночные клубы, черные такси и магазины на Бонд-стрит? Наверное, понимают. Может быть, поэтому им важно сгрудиться вместе в одно племя, среди «своих», вокруг костра под названием партия, инвестиционный банк, русский народ? Неужели до них никогда не дойдет, что свободная жизнь начинается там, где человек ничего не боится, когда он один, сам по себе, не

среди своих и, тем не менее, вовсе не чужой: где каждый сам по себе и все – добрые соседи?

Я стоял среди этой «Красной площади» в импортном исполнении и вспоминал свой эмигрантский ночной кошмар 70-х–80-х годов, когда еще «никого никуда не пускали»: мне периодически снилось, как я непонятным образом оказываюсь в советской Москве со своим британским паспортом; никто не подозревает во мне иностранца, и я счастлив, пока не понимаю, что куда бы я ни сунулся, с меня потребуют документ, и тут-то и наступит разоблачение врага народа – и, одновременно, конец ночного кошмара. Неужели Трафальгарской площади больше нет на свете? От этой кошмарной мысли меня отвлек вид японца с воблой в руках в стороне от толпы на площади; он получил эту штуку бесплатно, час протолкавшись в очереди за пивом в одном из праздничных киосков, и теперь, вымотанный совершенно, не знал, что с ней, воблой, делать: может, это инструмент водопроводчика или гвозди ею забивают? Этот японец меня развеселил и успокоил: значит, есть все-таки на свете другие, не свои! Я, наверное, все-таки не на Красной площади, а в Лондоне. До поры до времени. Впрочем, японцев и в Москве давно навалом.

Левша по-японски

Есть такие люди: приезжают бог знает откуда в твою страну и начинают тебе объяснять, как ты живешь и что на самом деле у тебя дома происходит. И ты, почесав затылок, думаешь: ах вот оно как, это ж надо, кто бы мог подумать! Такие люди воспринимают рутину твоей жизни глазами иностранца, приемом остранения (от слова «странно»), согласно ученому Шкловскому: репатриация, так сказать, как литературный прием. Таким визитерам все вокруг кажется страшно многозначительным, всё «как бы наподобие символизирует» что-то еще, как говорил один экскурсовод с ВДНХ: он даже в количестве колонн и ступеней очередного сельскохозяйственного павильона видел символический намек на число членов Политбюро или же число советских социалистических республик (по аналогии с числом колосков в снопе на гербе Советского Союза, если не ошибаюсь). Однако на жизни российских граждан это слабо отразилось.

Мало кто в Москве отреагировал на мое сообщение, которое я вычитал из газеты «The Daily Telegraph» в самолете из Лондона в Москву. Лондонская газета сообщила, что с сентября месяца школы в Татарской республике переходят с кириллицы на латинский алфавит. Для меня это известие было концом целой саги, которая началась с публикацией одного из моих рассказов в «Нью-

Йоркере». В этом рассказе («За крючками») походя упоминается некий приятель-татарин с пишущей машинкой. Когда редактирование рассказа в «Нью-Йоркере» дошло до упоминания этой татарской машинки, из-за океана в мою лондонскую квартиру стали поступать одна за другой депеши. Дело в том, что в «Нью-Йоркере» есть целый «штат фактографов», проверяющих досконально всю документальную подоплеку в публикациях. В моем случае все вопросы фактографов сводились к одному: почему у меня в тексте татарская машинка ездит в «другую сторону»? Я имел в виду каретку пишущей машинки (если мои читатели помнят еще, что это такое). В какую другую сторону? Я имел в виду – не в ту, куда ездит каретка русской пишущей машинки. Почему не в ту же сторону? Отвечаю: потому что этот мой татарин – мусульманин. Еще через день «Нью-Йоркер» высылает возражение: согласно Британской Энциклопедии и другим ответственным словарям и справочникам, советские татары перешли на фонетическую транскрипцию своего национального языка кириллицей в том же написании слева направо, что и русские, и поэтому не нуждаются в пишущей машинке, где каретка предназначена для арабского. Я был поражен их осведомленностью, но сообщил в ответной депеше, что советский татарин вообще-то, да, пользуется очередной советской кириллицей слева направо, но мой, личный татарин из рассказа, явно участвует в мусульманском ренессансе татарской нации и поэтому приобрел себе арабскую пишущую машинку. Последним ударом машинки фактографов была депеша о том, что по их сведениям татарское возрождение находится под влиянием Турции, где со времен Ататюрка турецкий язык транскрибируется латиницей и поэтому в другой каретке не нуждается: если ты пишешь слева направо, то каретка должна двигаться справа налево, татарская она или русская. Но я-то знал, что мой татарин изучал арабский и поэтому хотел «обратную» пишущую машинку, вне зависимости от того, в каком на-

правлении двинется в будущем татарское возрождение. Ну так вот, десять лет спустя выяснилось, что фактографы из «Нью-Йоркера» были правы: с сентября месяца татары перешли на латиницу, как турки, а вовсе не как арабы с другими семитами, у которых каретка (как, впрочем, и мозги) ездит в другую сторону.

В тот сентябрь, когда я прибыл в Москву, Путин отбыл в Японию. Ему там подарили электронную собаку. Компьютерная игрушка эта танцует и распевает какую-то эстрадную песенку. Я всем своим московским друзьям говорю: глядите, на что японцы намекают! На меня смотрели, как в афишу коза. Или как на Шкловского. Я говорю: игрушка, пляшет и поет! В ответ на мои восторги – полное молчание, совершеннейшее недоумение. Японцы, конечно же, подарили «русскому царю» Путину свою электронную версию «блохи». Мало кто отдает себе отчет в том, насколько японцы осведомлены в русской истории, культуре, литературе. И не знать «Левшу» Лескова для образованного японца сущий позор. Более того, у японцев это произведение должно вызывать особый сантимамент, поскольку японцы пишут справа налево (как евреи и всякие другие семиты), то есть всякий левша в этой письменности в более выгодном положении, потому что не заслоняет своей рукой то, что он ею же пишет. Левостороннее движение в Англии тоже явно вызывает отклик в левосторонней японской душе, и англофил Лесков именно поэтому и назвал своего героя Левша. Но блоху этот Левша явно подковал по-русски, поэтому она и перестала танцевать, поскольку предназначена была соблюдать английское левостороннее движение, а не правостороннее, даже во время танца. Короче, японская электронная собака, подаренная нынешнему отцу-батюшке России, явно как бы наподобие символизировала блоху, подаренную русскому царю англичанами. Вопрос в том, что с ней сделают российские мастера-компьютерщики из Тулы? Скорее всего, научат ее лаять. В результате она, наверное, перестанет петь

(слева направо, по-японски). Сам я в Японии не бывал, но, следуя традициям лесковского Левши, спешу сообщить Путину, что японцы свои компьютеры кирпичом не чистят.

Дама с Каштанкой

Иногда полезно знать иностранные языки: банальные, как дворняжка, вещи звучат по-новому в переводе, лают, так сказать, совершенно непривычно. В результате делаешь неожиданные открытия. Даже у Чехова. Даже в Ялте, где, казалось бы, Чехова знает каждая собака. Вот именно. Я и собираюсь, собственно, раскрыть вам глаза на связь собак, Ялты и Чехова.

Я попал в Крым как автор английского радио с разными идеями-рассказами, ну и, неизбежно, про дом-музей Чехова в Ялте. С этой целью я и взялся читать «Даму с собачкой» по-английски, сидя на лавочке ялтинского променада. Майский воздух дрожал предвкушением летнего сезона. Мимо пустынных заведений эпохи первоначального накопления бродили парами в поисках дешевого разврата потные бизнесмены, одетые во все отутюженное, и дамы, чья парфюмерия, казалось, должна была отбить чутье у всех местных собак. Наличествовали собаки на поводке, ведомые, так сказать, теми же бродячими дамами. А вот бродячие собаки куда-то запропастились: я не заметил на улицах Ялты ни одного пса без присмотра. Это было довольно странно: во всех южных городах – от Рима до Иерусалима – по улицам бродят ободранные полуголодные собаки. А в Ялте – ни одной. В ответ на мое удивление по этому поводу наш гид задал мне метафизический вопрос: «А как вы это за-

метили?» Он имел в виду, что подобные детали не полагаются замечать человеку постороннему.

Я ответил, что заметил это благодаря Чехову. Перечитывая «Даму с собачкой» в английском переводе, я увидел то, что, по-моему, не было замечено литературоведами: собачка исчезает на второй же странице и больше нигде не появляется. (Она упоминается мельком еще один раз, когда герой выслеживает дом возлюбленной и видит, как некая старая тетка-прислуга выходит из дома с этой самой собачкой на прогулку; герой, впрочем, не помнит имени собаки, никогда этого имени и не знал, вполне возможно, это вообще была уже не та собачка.) Собачка, короче, стала явно бродячей – исчезла из чеховского сюжета при первой же возможности. Куда же она делась, спрашивается?

Никто этого сказать не мог. Выяснилось, что до меня в Ялте с визитом был Путин, город по этому поводу почистили: более двух тысяч бродячих собак были отловлены. Их депортировали. Куда – никто не знает. Возможно, туда же, куда в свое время депортировал татар Сталин. Сейчас татары возвращаются, может, и бродячим собакам когда-нибудь позволят вернуться. Вообще в Крым, и в Ялту в частности, возвращается атмосфера космополитизма, этнической пестроты, смеси языков и верований. В конце ялтинского променада каждый день я наблюдал фотографа с живым питоном: он (фотограф) предлагает вам сфотографироваться в обнимку с ним (с питоном). Фотограф – армянин, а питон – украинец, приобретенный на харьковском рынке. Нелегальный иммигрант из Африки, наверное. Раз в месяц он съедает четырех местных кроликов: гипнотизирует их и постепенно заглатывает. На переваривание пищи уходит недели две, и в этот период желательно питона не беспокоить. Не исчезла ли чеховская собачка в пасти этого питона? Впрочем, питон в рассказе Чехова не упоминается. Но весь этот цирк напомнил мне еще одну бродячую собаку Чехова – Каштанку.

Она, как известно, потеряла в толпе своего пьяного хозяина, была подобрана старым добрым циркачом, стала жить комфортабельной и творчески интенсивной жизнью, выступала на арене вместе с другими звездами цирка под аплодисменты публики. Но стоило ей однажды услышать с галерки хриплый рык своего старого хозяина, и она тут же забыла и про комфорт, и цивилизацию, и творческие успехи – бросилась, сломя голову, навстречу родному голосу, чтобы только лизнуть в алкогольный нос свое родимое прошлое. Не это ли история эмигранта, забывшего родину, пока она, родина, его не позвала? Может быть, собачку Анны Сергеевны Дидеритц и звали Каштанка (в рассказе ее имя не называется)? Представляю себе миграцию этого литературного персонажа из чеховского рассказа в ряды белой эмиграции. Каштанка, впрочем, была дворняжкой, а не дворянкой. Так что собачка из рассказа в будущем оказалась бы в рядах пролетариата, марширующего в светлое будущее. Рассказ назывался бы «Дама с дворняжкой». Впрочем, Набоков упоминает в своих мемуарах, что потомок двух чеховских такс Брома и Хинина стал эмигрантом в Праге в потрепанной попонке.

Чеховские герои (да и сам он) любили помечтать: хорошо бы, мол, заснуть лет на пятьдесят и проснуться в другую, более светлую эпоху. Быстрый подсчет лет и эпох в этих чеховских мечтах показывает, что он проснулся бы в разгар сталинских чисток. Из окна своего домика в Гурзуфе он увидел бы самую высокую в мире – согласно книге рекордов Гиннеса – статую Ленина на территории пионерлагеря «Артек». Тут почетным гостем был и Гагарин. Он подарил артековскому музею фотографию Лайки. Может быть, Лайка – это инкарнация собачки Анны Дидеритц? Лайка, опять же, это и своего рода советская Каштанка: ей случилось летать по кругу над земным шаром, выступая в советском цирке космонавтики, но в конце концов ее призвал на место старый хозяин – Господь Бог, или Г. Б.: она, бедная, сгорела в

космосе. Не потому ли и возникли сигареты «Лайка»: всякий раз, глядя на тлеющий огонек сигареты и стряхивая пепел, вспоминаешь трагическую кончину этой собачки?

Но спустимся на землю в поисках потерявшейся собачки. На ялтинском променаде в эти дни на поводке – самые невообразимые экземпляры собачьей породы: от зловещих черных ротвейлеров и датских догов размером с быка до шпицев и некоего гибрида обезьяны с питоном. Я их аккуратно фотографировал. Сами дамы на променаде одеваются так же нелепо, как и во времена Чехова. Это Ялта, где три сестры занимаются самой древней профессией в мире. Чаек – раз два и обчелся: рыбы нет. Для вишневого сада – слишком жаркий климат. А на глубине двухсот метров в Черном море всегда была сероводородная мертвая зона, так что море живет двойной жизнью, как все герои Чехова. Это он заметил, что Ялта – место полуофициально узаконенной проституции, где богатые бездельники проводят время в поисках дешевых развлечений. Наш гид сообщил нам нынешние цены: четвертак за любовь на скамейке и сотня – в гостинице для интуристов. Интуристов мало, кроме, пожалуй, японцев.

Я никак не мог понять, как сюда занесло японцев. Когда мы были в доме-музее Чехова, мимо нас продефилировала еще одна группа японцев. Директор музея – литературовед и поэт Геннадий Александрович Шалюгин – покосился на них подозрительно. Разъяснились эти косые взгляды, когда Геннадий Александрович лично провел нас по дому. «Витража цветные ромбы не согрели этот дом. На шкафах – замки и пломбы, стол прижат колпаком», – так описывает Геннадий Шалюгин дом-музей в одной из своих поэм. Колпак появился довольно недавно, с тех пор, как со стола стали воровать музейные экспонаты – мелкие личные вещи Чехова. Например, зубную щетку. Ее-то, как выяснилось, и украли японцы.

Чего японцам Чехов, казалось бы? За разъяснением стоит обратиться, опять же, к самому Чехову. Это он отмечал, что от здешних дам на променаде несет дешевой парфюмерией, перешибающей запах моря. У Чехова, как у всех астматиков (как у меня), обостренная чувствительность к запахам. Когда Анна фон Дидеритц, дама с собачкой, приводит Гурова к себе в комнату, там стоит тяжелый запах парфюмерии. Чехов, с профессиональной дотошностью человека, чей отец был владельцем москательной лавки, отмечает, что парфюмерия закуплена в японской лавке. Прибыв в город, где проживает Анна Сергеевна, Гуров в конце концов находит ее в местном театре. Они сталкиваются на спектакле под названием «Гейша» (действительно, была такая популярная оперетта английского композитора Сиднея Джонса). Мы знаем, что это за такая японская профессия – гейша: еще один «японский» намек на причитания Анны Сергеевны о том, что она – падшая женщина.

Кроме того, во время предсмертной лихорадки Чехов бредил японцами, может быть, связывая ощущение смерти со своим путешествием на Сахалин, в сторону Японии. И вообще, русско-японские войны, Курильские острова. Когда дом-музей Чехова навещал Путин (что привело к депортации бродячих собак из Ялты), директор, Геннадий Александрович, на вопрос Путина, чем можно помочь музею, предложил: когда в очередной раз в переговорах между Россией и Японией зайдет речь о возвращении Курильских островов, чтобы Путин прямо так и сказал японцам: «Пока не вернете зубную щетку Чехова, Курилы мы не отдадим!»

Чужая конура

Я проснулся утром, выглянул в окно и увидел на газоне перед домом собачью конуру. Когда живешь на шумной лондонской улице с несколькими пабами, ресторанами и довольно-таки эксцентричными соседями, чего только не бросают тебе в палисадник. Щеколда давно сломана, железная калитка всегда нараспашку. Понятно, что толпа из пабов ночью забрасывает пустые бутылки и банки из-под пива, сломанные зонтики и недочитанные газеты. Но собачья конура – это, простите, уже слишком. В размерах этого подарка под Рождество было нечто вызывающее.

В нашем обществе массового потребления легче приобрести предмет, чем от него избавиться. Люди встают на рассвете и бродят по окрестностям в поисках дома, где идет ремонт и стоит контейнер для строительного мусора, чтобы украдкой сбросить туда испорченную кофемолку, сломанный стул или выцветший ковер. Есть совершенно другая тактика: взять и выставить старую кушетку к автобусной остановке – кто-нибудь да подберет. Чего только не подбирают в этом обществе социальных контрастов и глубокой пропасти между бедными и богатыми. По нашей улице взад и вперед бродят подростки с опущенным долу взглядом. Я вначале принимал их за обкуренных или за гомосексуальных «мальчиков внаем». Выяснилось, что они собирают мелочь по

краям тротуаров: люди выходят из пабов и ресторанов и, садясь в такси или, наоборот, расплачиваясь с таксистом, роняют деньги.

Моей первой инстинктивной мыслью было выставить эту собачью конуру обратно на тротуар. Но соседка с нижнего этажа нашего дома, бывший работник местного райсовета, женщина с безупречной общественной репутацией и невероятного занудства, встала на дыбы: она сказала, что лично знает двух слепых граждан в нашем районе; собачья конура на тротуаре будет для них непреодолимым препятствием. Я считал, что такой огромный объект на тротуаре никакой опасности для слепого не представляет, поскольку тот вооружен тростью и прощупывает все мельчайшие предметы на своем пути. Об эту конуру в темноте может, скорее, споткнуться и сломать себе шею какой-нибудь пьянчуга из соседнего паба. Но он с таким же успехом может споткнуться и о лавочку на автобусной остановке или налететь на столб, каковых у нас на тротуаре немало. С соседкой я, короче говоря, поругался, а конура осталась стоять. И будет стоять бог знает сколько, пока ее не заберет в порядке общей очереди спецотдел по индустриальному хламу при местном райсовете.

В этой пустой конуре есть нечто символическое. Тревожащее душу. Потому что если в наличии пустая собачья конура, значит, где-то существует собака: бездомная или мертвая. Знатоки местных обычаев в соседнем пабе сказали мне: собака у кого-то или умерла и пустую конуру выбросили к нам за забор, или же это часть украденного имущества и от него решили избавиться. Это значит, чья-то собака осталась бездомной. И действительно, если приглядеться, то конура вполне новая. Может быть, эта конура из зоомагазина и была доставлена не по адресу. Мне все время доставляют письма, адресованные в дом под тем же номером, что и мой, но на другой улице. Или на той же улице, но с номером наоборот: мой дом 67, а дом через дорогу, напротив, 76. Зеркаль-

ное, можно сказать, отображение. Все эти годы этот дом арендовал Фрейдистский исследовательский центр. Я долго шутил, что живу напротив своего подсознания. Там все время происходили какие-то загадочные сборища, мистические лекции. Может быть, у них была и собака. Собака моего подсознания. Конура, так сказать, настоящая – у меня теперь за калиткой, а собака – ментальная – в этом Фрейдистском центре.

Действительно, люди заводят собак, чтобы регулировать свой собственный образ жизни, заставлять себя выходить на прогулку, добывать пропитание домашнему животному, короче, сохранять в рабочей форме свою психику. И наоборот, «черные псы» поселялись в уме Черчилля в периоды маниакальной депрессии. Английская поэтесса Стиви Смит говорит про этого пса отчаяния, воющего внутри нас, как бы запертого в конуре; но эта конура с отчаявшимся псом – часть нашего сознания, и вырвать ее из души – значит, вырвать и жизнь заодно. Эту цитату я вычитал в книге про депрессию, которую я получил в подарок к Рождеству (книгу, а не депрессию) от поэтессы Гвинет Льюис. По случайному совпадению я открыл эту книгу в тот же день, когда на нашем газоне появилась пустая конура. Гвинет Льюис – поэт двуязычный, знает, что значит быть эмигрантом у себя на родине, в Уэльсе, отдает себе отчет в раздвоенности между материнским языком и языком отечества (отец у нее англичанин, а мать – валлийка). Она пишет на обоих языках о ситуациях, когда «связь между словом и предметом разорвана, и ум становится лавкой барахла из пережитого опыта». Она знает, что значит чувствовать себя за дверью собственной жизни.

Так или иначе, пес моего подсознания тоже оказался бездомным, потому что Фрейдистский центр относительно недавно закрылся. На его месте открылся магазин распродажи через Интернет, как бы виртуальный аукцион. А не загнать ли туда конуру? Может, достанется какой-нибудь собаке? Или передать ее в зоомагазин –

щенков держать? Если райсовет увезет эту конуру на свалку, то у этого пса – из нашего национального подсознания, индивидуального воображения или еще какого-нибудь виртуального пса – новоселья вообще не будет в этом мире, празднующем Рождество младенца в хлеву. Начал я, сказал бы Гоголь, как человек, а кончил собачиной. Тем временем, энтузиасты защиты прав животных, заметив конуру у меня во дворе, стали подбрасывать мне в почтовый ящик брошюры об обращении с четвероногими, взятыми из приюта для бродячих собак. Слава богу, на наш газон подбросили всего лишь конуру. Вместо нее могли оказаться еще и стойла для лошадей или вольеры для собак. Или даже люлька, колыбель какая-нибудь. Представляете, какая на меня, в таком случае, была бы возложена ответственность?

Тюремность демократии

На днях в столовой Би-би-си исчезли нормальные столовые приборы. Вилки с ножами – только пластиковые, тарелки – бумажные, стаканчики – тоже. С бумажным стаканчиком можно совершить многое, но пить из него я отказываюсь. На мои жалобы ответили: временный дефицит. Мы уже это однажды слышали. Во время Второй мировой войны в конце прилавка столовой Би-би-си, перед кассой, по свидетельству современников, была лишь одна ложка, чтобы размешивать сахар и в чае, и в кофе, да и та на веревочке, чтобы не унесли. Но то были годы патриотического самоограничения. В наши дни, в эпоху всеобщего процветания и перехода на сверхсовершенное оборудование в радиовещании, нас снова призывают экономить, сокращать штаты, и вместо человеческого лица вам все чаще подмигивает экран компьютера. А кто его знает, чего он мигает.

Компьютерные телевизоры уже глядят на вас из любого угла столовой. Они извещают обедающих о новых прогрессивных мерах и выдающихся достижениях генерального директора Би-би-си при переходе на дигитальную систему. Очень похоже на то, что описано у Джорджа Оруэлла в романе «1984». Оруэлл, как известно, работал в этом самом здании – Буш-хауз: Министерство правды «1984» и есть Би-би-си 1948 года. С тех пор столы со стульями стали тоньше телеэкрана – из какого-то

тоже пластика. Столы теперь – на восемь человек, плечом к плечу, причем стулья с такими спинками, что не рассидишься. В цирке тигров сажают на высокие табуреты с маленькими сиденьями – и вся агрессивная энергия этого дикого животного уходит на то, чтобы удержаться и не упасть со стула; мысль о том, как хорошо бы съесть дрессировщика, становится непозволительной роскошью. Тот же принцип и в нынешней столовой Би-би-си, с тех пор как несколько лет назад ее приватизировали, отдав на откуп частной ресторанной фирме.

До этого столовая была частью корпорации. Помещение выглядело, как и все здание Всемирной службы – арт-деко 30-х годов: гигантские потолки, сплошной мрамор и дуб, кожаные кресла. Двадцать лет назад я еще успел застать несколько столиков для директората, с крахмальными скатертями и серебряными приборами, как в оксфордском колледже. Вообще вид, атмосфера и, главное, меню столовой Би-би-си всегда отражали политическую ситуацию в стране в той же степени, в какой микрочфон воспроизводит классовое происхождение говорящего.

В 80-е годы тут, скажем, заправляли профсоюзные деятели-лейбористы, с заметной инфильтрацией набожных негритянок-баптисток: они в перерыве читали Библию, подавали три стандартных блюда на обед без каких-либо отклонений в экзотику. Я, например, решил однажды с похмелья взять кофе с лимоном. Кассирша этой комбинации понять не могла. В ее меню есть «русский» чай с лимоном, или кофе с молоком; но черный кофе с лимоном – выше ее понимания. В ту эпоху даже не разрешали покупать торт, предназначенный на десерт, раньше полудня. Кстати, тут, в подвальном помещении, с 30-х годов никогда не выключался свет: столовая, как и радиовещание, работала круглые сутки. После полуночи ты попадал, как из машины времени, в военную эпоху: в ночную вахту тут заступали добрейшие тетки-пенсионерки, современники Второй мировой. В ме-

ню появлялись блюда, ностальгически вредные для здоровья, – жареный бекон, чипсы, бифштексы с кровью.

Вот именно, с кровью. Кровь в мясе присутствует, и честный англичанин ее скрывать не собирается. Но в эпоху политической корректности нынешние заправила столовой Би-би-си борются за прогрессивную диету. Был даже момент, когда нельзя было попросить черного кофе – слово «черный» отдавало расизмом. Кофе, оказывается, бывает только «с молоком или без». У касирш появились диктаторские тенденции. Промывка мозгов в наше время происходит непременно с огромным количеством льда. При всех антиамериканских настроениях напитки теперь подают на туманном Альбионе в столовой Би-би-си как в дешевых забегаловках Америки: в огромных бумажных стаканах с кучей льда, взяв из чужой культуры самое дешевое и вульгарное. Лед в американских напитках еще можно понять – там тропическая жара летом, но зачем же его совать в ирландское виски?

Воинствующие еврофилы, при всех своих декларациях кулинарного космополитизма, в действительности искореняют все истинно национальные изыски. Выражается это, например, в том, что жгучая и горькая, похожая на русскую, английская горчица «Кольман» исчезла из употребления. Вместо этого нам дают кисло-сладкую, с уксусом, псевдофранцузскую жижицу. И в каждом мясном блюде – экзотический острый соус: чтобы скрыть мизерное количество и качество мяса. Все меню – с обильными вкраплениями французского языка. С грамматическими ошибками. В этом якобы переход от узколобного островного провинциализма к европейской культуре. Я вас уверяю: когда исчезает традиционная английская горчица – конец заведению.

Кстати, даже французская горчица подается теперь в маленьких пластиковых пакетиках, как в самолете. Чтобы вскрыть такой пакетик, нужен добрый русский топор. Может быть, в этом и есть скрытая цель нынеш-

него директората столовой: направить агрессивные инстинкты радио-работников на борьбу с неудобствами быта – на неудобные стулья, не открывающиеся пакетики с горчицей. Пластмассовые вилки с ножами – это лишь часть этого стиля, куда входит и пацифизм. Может быть, руководители Би-би-си опасаются, что в свете крестового похода на Багдад англосаксоны радиовещания начнут поножовщину с представителями мусульманских секций? Я, конечно, преувеличиваю, но карантинные тенденции, современный сепаратизм в культуре выражается и в упаковке продуктов питания: все вообще обернуто в полиэтилен – якобы для гигиены. Даже бутерброды готовят, надев полиэтиленовые перчатки. На самом деле эти обертки в первую очередь – удобный способ скрыть несвежесть продукта. Но в этом есть что-то больничное.

Или тюремное. Вот именно: в этом, оказывается, и разгадка наличия пластмассовых ножей вместо металлических. Клеветники распускают слухи: частная фирма, управляющая сейчас столовой Би-би-си, якобы филиал американского предприятия, управляющего приватизированными тюрьмами по обе стороны Атлантики. Слухи непроверенные, но они объясняют, почему приборы в столовой Би-би-си – из пластика. В тюрьмах, ясное дело, избегают металлических ножей и вилок, чтобы заключенные себя и друг друга не покалечили.

Радиорыба

Слова из песни Окуджавы: «Как много, представьте себе, доброты – в молчаньи» – могут по-настоящему оценить только работники радиовещания. Когда десятки лет проработал, прокручивая километры магнитофонной ленты с голосами знакомых и незнакомых тебе людей, эти пленки продолжают безостановочно крутиться у тебя в голове. Это первый признак безумия: когда в голове звучат голоса. Начинаешь говорить сам с собой вслух: собственно, именно в этом и заключается процесс говорения в микрофон, когда сидишь один в студии. Мало того: ученые говорят нам, что в космической пустоте радиоволна не умирает – она путешествует в звездной бездне по бесконечным маршрутам, и не исключено, что твой голос, однажды выпущенный в эфир, вернется к тебе из космоса в самый неожиданный момент.

Неудивительно, что с годами становишься агрессивным по отношению к лишним и посторонним звукам. Это утомительно и доводит, порой, до истерики. А на радио истерика опасна для жизни. Всякий радиоработник привык работать с магнитофонной лентой (до самого недавнего времени, когда стали редактировать запись на компьютере), то есть, вырезая ненужные куски и склеивая концы. Подобная операция производится с помощью страшно острой монтажной бритвы. Эти бритвы лежат пачками в коробках и доступны каждому. Сотни работников Би-би-си бродят по коридорам с ост-

рой бритвой в руках. Как так получилось, что ни один рассерженный и обиженный коллега еще не прирезал никого из начальства, я не могу понять. Устранить эту опасность можно лишь с полным переходом на компьютеры. Но переход на компьютеры позволил воспроизводить звук так легко и дешево, что от шума голосов нет спасения нигде. Даже в лифте Би-би-си теперь ретранслируются радиопередачи, идущие в эфир. В столовой работают компьютеры с телеэкранами, рекламирующие достижения руководства Би-би-си. В коридорах звучит музыка. Идет мощная промывка мозгов звуком. Настоящий сумасшедший дом.

Недаром в последние годы я стал так пристально любоваться рыбами в аквариуме клуба Би-би-си: как-никак, рыбы – это единственные живые существа здания Иновещания, способные молчать. Молчание – золото для моей психики. То есть, ихтиологи утверждают, что рыбы тоже говорят и общаются друг с другом, но на каких-то, если не ошибаюсь, ультразвуковых волнах. Возможно, и на каких-то других; так или иначе, для человеческого уха рыба – существо немое. В этом для меня заключается великий рыбий дар.

Но, как оказалось, рыба – существо далеко не глухое. И не слепое. Я уже давно говорил, что люди и домашние животные (особенно из тех животных, которых употребляют в пищу) в разных странах в ходе эволюции начинают походить друг на друга. Наблюдая на протяжении последних нескольких лет рыбок в аквариуме клуба-бара Би-би-си, я заметил, что с этими рыбами происходят удивительные метаморфозы. Я помню, как эти рыбы выглядели в добрые старые времена, когда бар Би-би-си выглядел как английский клуб: потертые кожаные кресла, дубовые панели, высокие мраморные потолки с лепниной. Аквариум стоял посреди залы и был населен тропическими рыбами, экзотическими и изящными, как редкостные бабочки. Эти рыбы всех цветов радуги, с плавниками, похожими на перья или водоросли, были

и на рыб не похожи, и как будто представляли пестрое колониальное прошлое Британской империи. Их прекрасное молчание нарушал лишь шелест газет и позвякивание льда в стаканах с напитками.

Но с годами помещение клуба кардинально изменилось. Оно все больше и больше радиофицировалось и телеэкранизировалось. Количество кабелей, протянутых под потолком, росло день за днем, и поэтому потолки стали фиктивными и все более и более низкими. Кроме того, новая администрация здания решила, что сам декор клуба слишком имперский и колониальный и поэтому меняли мебель на что-то фанерное, а мрачные дубовые панели сменили на пластик радостных колеров. В конце концов клуб Би-би-си стал похож на пролетарский паб в индустриальном пригороде. Читатели газет исчезли и сменились толпой любителей пива, курящей, орущей и ничего не слушающей, потому что голоса полностью заглушались дикой музыкой.

Удивительно, что чем демократичнее и оптимистичнее становился плебейский дизайн помещения, тем мрачнее стали выглядеть рыбы в аквариуме. Они как-то потеряли свою пеструю экзотическую окраску. От легкости тропических бабочек не осталось и следа. Более того, от грохота вокруг аквариума сами рыбы тоже стали как будто более суетливыми. Но кардинальные перемены произошли тогда, когда половину клубного помещения отделили от бара стеной: за стеной устроили тренажерный зал. В этот период и произошли в аквариуме необратимые метаморфозы. Рыб количественно стало меньше, но они постепенно увеличивались в размерах. Аквариум тоже поделился: одна его стеклянная стенка глядела на новое орущее поколение радиовещателей у стойки бара, другая – на радиовещателей, наращивающих мускулы в тренажерном зале, видимо, для того, чтобы тверже держать в мускулистых руках тяжеленный микрофон; одна половина научилась разговаривать, другая – поднимать гири. Кто же победил?

В один прекрасный день я поглядел на них новыми глазами: в аквариуме плавали в мрачном одиночестве несколько огромных рыбин, их серая чешуя поблескивала металлом, они косились друг на друга враждебно и, проплывая мимо, медленно открывали рты, как будто оскорбляя друг друга грязными ругательствами. В глазах их светилась убийственная щучья алчность. Я понял, что все это время под влиянием окружающей среды рыбы в аквариуме пожирали друг друга, производя на свет новую агрессивную породу. Если дело пойдет и дальше в том же духе, количество посетителей в клубе-баре Би-би-си начнет катастрофически уменьшаться.

Масштабы любви

«Ничего нам не надо, кроме любви». Эти слова из песни Битлз распевали двенадцать тысяч счастливых, попавших на поп-концерт на лужайках Букингэмского дворца, чтобы отпраздновать пятидесятилетие пребывания Елизаветы Второй на престоле. Такой пестрой толпы никогда не было на территории дворца в истории семейства Виндзоров. Эти тысячи голосов были подхвачены импровизированным хором еще и сотен тысяч энтузиастов в парках и на площадях вокруг дворца. Слова про любовь могла бы петь (а может, даже и подпевала) сама юбилярша: единственно, что не хватало нашей королеве в последнее время, – это любви. Так, по крайней мере, казалось тем злопыхателям, кто занимался систематическим очернением королевского семейства вслед за трагической гибелью принцессы Дианы. Семейство Виндзоров обвиняли в чопорности, чистоплюйстве, черствости, чванстве и чуть ли не в «черных» чарах и еще черт знает в чем на букву «ч» (некоторые совершенно серьезно поговаривали о том, что автомобильная катастрофа была якобы подстроена королевской разведывательной службой).

Кто бы мог подумать, насколько своевольна любовь народа. Со стороны Елизаветы и ее приближенных эти годы были триумфом выдержки, аристократической манеры не вступать в споры – никогда ничего не объяснять и ни в чем не оправдываться. Королевские особы,

поп-звезды светской жизни, вроде «народной принцессы», уходят, а королевский дом продолжает оставаться центром национальной жизни. Энтузиазм толпы за четыре дня концертов и парадов достиг такого накала, что даже чемпионат по футболу стал глядеться как часть юбилейной праздничной программы. Неудивительно, что, выйдя под гром аплодисментов на балкон по требованию толпы в третий раз, Елизавета расплакалась – от счастья.

Впрочем, злые языки заметили следы дворцовых интриг даже по ходу поп-концерта. Скажем, Элтон Джон (сэр Элтон) не удосужился возвратиться вовремя из-за границы, чтобы выступить живьем на юбилее; вместо этого на концерте запустили видеозапись его исполнения песни про любовь «особого рода». В этом был усмотрен демонстративный жест: Элтон Джон и принцесса Диана были закадычными друзьями, обожали друг друга, он рыдал у нее на похоронах. Некоторая двусмысленность была отмечена и в выборе им самой песни про любовь «иного» свойства. Если учесть сексуальные предпочтения самого Элтона Джона, участие в поп-концерте гомосексуального ансамбля Queen и того факта, что по-английски слово Queen – Королева – означает еще и стареющего гомосексуалиста с женственными манерами, ясно, что сам титул королевы обрел в этот вечер несколько двусмысленный оттенок.

В эти юбилейные дни праздничных шествий, церемоний и ритуалов все воспринималось символически. Даже безоблачное голубое небо над головой. Если вокруг дворца собрались сотни тысяч энтузиастов королевского семейства, то сам Лондон совершенно опустел. Многие, конечно, бежали от этих церемоний за границу, вроде Элтона Джона. Зато в ботанический сад Кью в этот день пробиться было довольно трудно: сюда двинулось не меньше толп, чем к Букингэмскому дворцу, и нужно было отстоять часовую очередь за билетами. И дело не только в уникально безоблачной погоде в тот

жаркий день. Дело в том, что в одной из оранжерей парка расцвел экзотический цветок. Это тропическое растение родом с Суматры цветет всего лишь пару дней раз в несколько лет. И надо же: расцвел именно в королевский юбилей.

Нужно сказать, что цветком эту тропическую особь назвать трудно. Это, я бы сказал, некий монстр ботанического мира. Латинское название этого гигантского растения – *amorphophallus titanum* – в переводе на русский означает «деформированный гигантский пенис». Зрелище действительно незабываемое, ошарашивающее. Из огромного бутона, метра в три по периметру, похожего на раскрывшуюся, багровых колеров вагину, вырастает вертикально многометровый член, похожий на банан в полметра толщиной, но заостренный на вершине. Эта заостренность нарушает фаллическое ощущение от этого гиганта, но с другой стороны – с другой стороны! – кто его знает, какие только ни бывают на свете формы у детородных органов?

Глядя на этого ботаническое монстра, задаешься вечным вопросом: важен ли размер? Есть такая точка зрения, что размер совершенно неважен. Но каждая опытная женщина скажет вам, что ощущения невозможно сравнивать по их важности, что ощущения эти – разные в зависимости от размера. Вопрос о метрическом значении органа как такового беспокоит, скорее, тех мужчин, у кого пенис маленького размера. Они страдают, я думаю, тем же комплексом, что и мужчины маленького роста, а именно – комплексом Наполеона. Речь идет об ощущении собственной неполноценности и мании величия. Такие мужчины зачастую в семейной жизни – тираны, потому что требуют постоянных подтверждений со стороны женщины своего авторитета и превосходства. Этим комплексом страдают, конечно, не все мужчины маленького роста: зависит от того, как ты сам себя ощущаешь. Я, например, с годами стал намного ниже ростом из-за искривления позвоночника (травма

во время гимнастических упражнений в юности), но ни комплексом неполноценности, ни мифической мстительностью горбуна никогда не отличался: может быть, потому, что лет до тридцати считал себя человеком высокого роста.

Причем, мужчины маленького роста вовсе не обязательно обладают миниатюрным пенисом. Пример тому – Роман Поланский, карлик, можно сказать, намекнувший в одном из интервью, что самый длинный пенис в природе – у улитки: если судить пропорционально размерам ее, улитки, тела. Мужчины с маленьким пенисом страдают совершенно иным комплексом. Им кажется, что они никак не могут удовлетворить женщину. Это, конечно же, заблуждение; наоборот, из-за миниатюрности размеров детородного органа такие мужчины наделены природой большей активностью – они, видимо, надеются, что путем непрерывных упражнений, как в тренажерном зале, этот мускул увеличится у них в размере. В отличие от нас, лентяев, одаренных природой с такой же щедростью, что и тропический цветок с Суматры, мужчины с маленьким членом уверены, что женщины бросают их исключительно из-за миниатюрности их половых признаков. То есть они прикрывают отрицательные черты своей личности маленькими размерами пениса. Они считают, что у мужчины с большим членом больше душевных преимуществ. Я считаю, что подобные мужчины должны посмотреть правде в лицо, поглядев на монструозный *atogrophallus titanum* в лондонском ботаническом саду. О вкусах, конечно, не спорят. Трудно, однако, представить себе обаятельную личность, привлекающую женщин подобным эротическим орудием. Кстати, опыляется этот эротоподобный цветок трупными мухами. Аромат вокруг – просто жуть.

Пахнет, действительно, властью. Заговорил я обо всей этой ботанической сенсации в юбилейные дни в связи с дополнительным политическим подтекстом этого события. Расцвел этот гигантский пенис ботаничес-

кого мира в тропической оранжерее Лондона, открытой всего несколько лет назад. Оранжерея было дано имя принцессы Уэльской, что придало всей этой ботанике политический характер. Тут пахнет борьбой за власть. В юбилейные дни часть народа отправилась к Букингемскому дворцу, а другие – именно сюда, в оранжерею им. принцессы Дианы, чтобы поглазеть на эротическую ботанику, на любовь «иного рода». Даже монархия в наши дни исповедует принципы плюрализма.

Шинели и мундиры

Всякий раз наблюдая королеву в дни юбилеев, удивляешься, как похожа она в своей манере одеваться на домашнюю хозяйку из Мытищ сталинских времен, собравшуюся на «Лебединое озеро» в Большой театр. Тут все: и плиссированная юбка, и газовая косынка на голове, и бухгалтерские очки на носу. А может быть, сталинские домашние хозяйки и подражали королеве, периодически мелькавшей на советских экранах, как в свое время советские стилисты с коками и в брюках дудочкой подражали американским teddy bears. Ясно, что английской королеве эту манеру специально придумали модельеры, чтобы она была похожа на английскую домашнюю хозяйку из пригородов. Тут у каждого класса и круга – своя мода, каждого можно отличить – вплоть до зарплаты и любимых книг – по шнуркам на ботинках. Нет моды вообще, как в Париже или в Вене: в Англии мода – это способ обозначить свою принадлежность к определенному кругу, постоянно меняющему свое внешнее обличие.

Фермеры и университетские профессора одеваются в твид и вельвет, жены миллионеров-промышленников предпочитают джерси сочных колеров, и только интеллигентская братия из артистических, главным образом, кругов все еще держится за все черное, от льна до шелка – в подражание иранским муллам и исламским фундаменталистам с их черными костюмами и белыми рубаш-

ками без воротничков. В последние месяцы на улицах появились подростки, чьи лица обернуты до глаз черными платками анархистов или шарфами палестинцев-интифадников. Представляете, в Москве появиться в полном чеченском обмундировании? А у нас в тренажерном зале штангистка Джил Рассел (родственница лорда Рассела) обожает спортивные майки с таким диким декольте, что при размерах ее бюста она становится похожа на площадку экспериментального взлета двух дирижаблей. Капюшон американского негра-мусорщика тоже впечатляет. Англосаксонский ум постоянно в поисках какой-нибудь неповторимой гадости – только она может создать ощущение отличия, то есть ухода от заурядности, мертвечины. Англия одевается некрасиво с точки зрения Европы потому, что английская мода (критерий красоты) всегда на шаг впереди и еще не стала «красивой» в общем (европейском) смысле.

Русские классики от Карамзина до Солженицына, франкофилы и германоманы в моде предпочитали консервативное изящество, изыск, роскошь – короче, не красоту, а красивость, кукольную претенциозную расфуфыренность. Единственное, пожалуй, исключение – это Лермонтов. По ходу своего лекционного курса «Эмиграция как литературный прием» я пытался объяснить американским студентам позицию Лермонтова как лишнего человека и внутреннего эмигранта. Перечитав «Княжну Мери», я понял, что Печорин убил Грушницкого исключительно из-за манеры одеваться. Там половина текста посвящена одежде, отмечают малейшие детали и нюансы насчет того, что, скажем, «штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи».

Совершенно ясно, что герой Лермонтова возненавидел Грушницкого, когда тот сменил простую солдатскую шинель на дурно скроенный мундир. Эта толстая шинель с грубым ворсом Печорину явно нравилась. Она была ему «к лицу», в этой солдатчине было нечто байро-

новское или, скорее, панковское. Воинствующие пролетарии из трущобных районов Лондона в свое время решили стать зеркалом уродливого, с их точки зрения, общества и стали одеваться намеренно уродливо – армейские, фабричные ботинки «Док Мартен», бушлаты и рваные джинсы. Это и был высший шик.

Высший шик был и в солдатской шинели Грушницкого. Пока он не переоделся в «армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах». С какой ненавистью описывает Лермонтов новый вид расфуфыренного Грушницкого: «эполеты невероятной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура... черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник...». При этом Грушницкий еще ругает «проклятого жида» за узкие подмышки и льет себе розовую помаду «полсклянки за галстух». Ну что с таким вульгарным типом сделать? Пристрелить при первой же возможности.

Вот почему, прощаясь с «немытой Россией», англофил Лермонтов с ненавистью упоминает голубые мундиры в контраст, так сказать, гоголевской шинели внутренней эмиграции.

Новый эклектизм

В Лондоне появилась моя старая подруга из Москвы. На голове у нее красовался алый французский берет, а куртка была серого норфолкского твида. Так всегда любило одеваться наше поколение семидесятников, когда мы хотели внешне приобщиться к старой доброй Европе: этакая смесь Эдит Пиаф и Шерлок Холмса. Я упоминаю эти детали, поскольку она приехала как корреспондент одной московской газеты в связи с тем, что в Лондоне проходила очередная неделя моды. Замечали ли вы, что один из существенных аспектов моды в том, что мода всегда «проходит»?

«А мне все-таки кажется, что в Париже одеваются красивее. Строгие элегантные формы, гармоничная подборка цветов», сказала Наташа. «А в Лондоне все одеваются черт знает как и черт знает во что».

Толпа в пабе, где мы сидели, была действительно довольно пестрая.

«Потому что мода такая», сказал я. «Сейчас в моде одеваться черт знает во что. Это так кажется, что все наперекосяк, тришкин кафтан, с миру по нитке, из-под пятницы суббота. На самом деле это новый эклектизм. Есть сейчас в Лондоне очень дорогие магазины, где тебя оденут так, что все на тебе будет в особом контрасте друг с другом, это новая эстетика».

«Не вижу смысла».

«Какой может быть в моде смысл? Надевают вдруг пролетарские армейские ботинки “Док Мартен”, или палестинский шарф, или там шерстяную шапочку портового грузчика, или брезентовую куртку бомжа, одно время одевались во все черное, как иранские радикалы-мусульмане, или все вдруг напялили рваные джинсы престарелых хиппи».

Я с места в карьер прочел своей приятельнице небольшую лекцию на хорошо известную мне (и вам) тему: насчет того, что в отличие от Европы английская мода начинается снизу. Я пересказал ей главную идею: подхватить в уличной толпе, с заплыванного тротуара нечто экзотическое и вульгарное и превратить это в высший шик. Нет моды вообще, как в Париже: тут мода – это принадлежность к определенному кругу, постоянно меняющему свое внешнее обличие. А французы – они тотальны в своем мышлении и так и не смогли до сих пор сменить критерий красоты со времен античной Греции.

У французов все так: во всем диктат истеблишмента и элиты. Идея централизации, иерархии, бюрократии, высокой подцензурной морали. Полицейский, на самом деле, режим. Прожив тридцать лет на этом острове, начинаешь разделять подозрение англичан в отношении «лягушатников» – со всей их приверженностью Папе Римскому и их расчетливым рационализмом, воинствующим атеизмом и политическим сикофантством, левым радикализмом и революционным насилием, отсутствием в уголовном кодексе презумпции невиновности и наличием правительственного контроля в прессе. Все ужасное, что есть в России, пришло, кстати, из Франции.

«Ну ты распелся. А ты что у нас, англичанин, что ли?» спросила вдруг Наташа.

То есть не вдруг. Я действительно несколько увлекся и слегка загнул насчет французов.

«Я здесь, в Лондоне, живу тридцать лет, кем меня еще называть? Конечно, англичанин. Англичанин родом из России, вот и все».

«Ты хочешь сказать, здесь твой дом?»

«А где еще? Я здесь живу».

«Дом – это не просто место жительства».

«Согласен. Часть моего прошлого – полжизни – конечно же, в России».

«Сейчас в России много изменилось, а ты все мыслишь прежними мерками, отжившими категориями».

«Согласен. Я это сам вижу. Всякий раз, когда я в Москве, поражаюсь, как все изменилось».

«На каждом углу Армани с Версаче, расцвет издательского бизнеса. Рестораны битком набиты, международные фестивали каждый день, размах жилищного строительства. Тебя это поражает, да?»

«Да. Совершенно другая страна».

«Но это все поверхностно!»

«Не сомневаюсь. У людей пенсионного возраста большие трудности. Для людей моего поколения Россия как бы эмигрировала, ушла прямо из-под ног, и они оказались иностранцами в собственной стране», согласился я.

«Пока ты тут в Англии отсиживался, мы боролись за демократические свободы. Разве тебе понять, что значило для нас быть в России все эти страшные годы?»

«Умом мне этого, конечно, не понять. Но я готов тебе поверить. У меня перед глазами такая, знаешь, картина. Подкатывает к ресторану на “Мерседесе” какой-нибудь гангстер, разбрызгивая слякоть, и обливает старушку на тротуаре с ног до головы. Выбралась старушка в кои веки раз из дому купить на последнюю пенсионную копейку булочку или кусочек курочки, оделась во все лучшее, а этот бандюга на “Мерседесе” ее с ног до головы ледяной водой с грязью. Воспаление легких – и с копыт долой».

«Вот-вот. Ты попробуй, блин, поживи с наше. Да, конечно, у вас тут на улице одеваются как хотят. Да у вас здесь зима как у нас золотая осень. А в Москве? Когда жара – пылица. Снег растаял – слякоть, грязища. Ты знаешь лично эту старушку?»

«Нет, я говорил символически. Это символическая старушка».

«Ну слава богу», вздохнула Наташа.

«Я не знаю, откуда я взял эту старушку. Может, и нет таких старушек в России. Я просто почувствовал, что от меня ждут солидарности со всеми униженными и оскорбленными».

«Уже давно никто ни от кого ничего не ждет».

«Когда я слышу, как превозносят политические перемены в России, я чувствую себя этой самой старушкой, – сказал я. – И этот “Мерседес”, знаешь, он как вся новая Россия. Представляю себе, как ежедневно – ежедневно! – людей обливают грязной жижей хамской жизни, с ног до головы, день за днем, может быть, каждую минуту!»

«Не волнуйся. Теперь я вижу, ты – наш! Господи, даже слеза прошибла», сказала Наташа и пододвинула мне стакан: «Выпей вот виски».

«Спасибо. Ты когда обратно?» спросил я деликатно.

«Послезавтра. Ужас берет. Путин. Распутица. Россия!»

«За тебя».

Мы чокнулись.

«Никогда не знала: виски – единственное число или множественное, вроде как ножницы? Мужского рода или среднего?»

«Среднего. Крепкое виски. Впрочем, не уверен. Но не как ножницы».

«Не уверен? А тебе не кажется, что ты стал забывать русский за тридцать лет? По-моему, тебе пора пожить на родине годика четыре. Восстановить язык. Ты, знаешь, дозрел до возвращения в Россию. Слушай, а может, махнемся? Ты поработаешь за меня в московской газете, я за тебя на Би-би-си? Не кажется ли тебе, что со своим беретом и жакетом я хорошо вписываюсь в новый британский эклектизм?»

Чужая судьба

Все мы, кто оказался за «железным занавесом» или Берлинской стеной собственного прошлого – в результате революции, эмиграции или неудачной любви, – начинаем выдумать это прошлое заново. Выискивать в чужой истории какие-то параллели, открывать для себя чужих героев и в их отношениях узнавать свои собственные личные драмы. Чтобы не чувствовать себя совершенно выброшенными из истории, из сюжета. Заручиться знакомыми лицами в другом столетии, в другой стране.

Если взглянуть на гору английских книг, растущую у меня на столе и рядом с постелью, можно подумать, что я окончательно свихнулся. Но в действительности я выуживаю из этих книг то, из чего можно сконструировать собственную историю на другом языке. Периодически меня охватывает тоска по несбывшейся Европе, иногда я погружаюсь в исследования по восточной мистике. Но все чаще и чаще я, человек, раздираемый глубочайшими и разнообразнейшими противоречиями духа и тела, обращаю свой взор к предвоенной Германии. Я чувствую странную близость к этой эпохе, к этой стране, распавшейся на круги дружбы-вражды между коммунистами, нацистами и сионистами, где делили любовниц с религиозным рвением, а религиозные идеи меняли как любовниц. В этом огромном, сером, отданном на растерза-

ние всем ветрам Берлине, в 20-х–30-х годах судьба сводит вместе двух людей: однодума Герхарда Шолема и Вальтера Беньямина, неспособного до конца сконцентрироваться ни на одной идее. Это – столкновение двух классических темпераментов. Один видит глубочайшую мудрость в болтовне ни о чем, другого тянет к молитве в одиночестве. Герхард Шолем штудировал Каббалу. Его друг Вальтер Беньямин делал вид, что тоже изучает Библию, чтобы не разочаровывать друга. На самом деле ему нравилось просиживать в кафе и барах, салонах и театрах, тратя родительские деньги со своими любовницами. Он собирал редкие книги и антикварные издания и с увлечением ждал конца Европы. На подобное времяпрепровождение нужны финансы.

Герхард был шокирован, с каким цинизмом его друг Вальтер надувает своих родителей и друзей, вымогая у них деньги. В свою очередь Вальтер издевался над мелкобуржуазной моралью своего друга и утверждал, что великим артистам дозволено то, чего не дозволено мещанину. Оба при этом уклонялись от армии, получая фальшивые медицинские справки. Герхард в конце концов переехал в Палестину (и стал называть себя Гершомом) и уговаривал друга в Берлине бросить марксизм. Для Шолема это увлечение друга было фиктивной попыткой избежать одиночества через участие в кружковщине партийных идеологов. Тот как бы заморачивал себе голову, отказываясь встретиться лицом к лицу со своей истинной природой – своим еврейством, с иудаизмом. Вальтер клятвенно обещал другу в конце концов заняться этой важнейшей отраслью знания. И просил дополнительных ссуд, стипендий, займов, денег из иерусалимских фондов якобы для изучения древнееврейского. Дело не пошло дальше изучения алфавита.

Переезд в Иерусалим постоянно откладывался – на неделю, на месяц, на год. Он убеждал друга, что ему необходимо разобраться в еще одном эпизоде современной истории, еще немного вслушаться в шум времени.

Но, согласно Кафке, «когда вслушиваешься – ничего вокруг себя не видишь». Вальтер Беньямин, полуслепой, все хотел досмотреть до конца. Происходили встречи с какими-то еврейскими мистиками-шарлатанами, вроде некого Оскара Гольдберга, ментора и гуру целого круга берлинских интеллектуалов. Тот утверждал, что надо восстановить мистическую связь между евреями и божественной тайной Торы; с его точки зрения эта связь была разрушена иудаизмом и талмудистами. Герхард стал подозревать, что даже если Вальтер Беньямин и увлечен еврейской историей, то вовсе не уверен, что еврейский народ – это его народ. И что вообще у каждого человека на свете должен быть свой народ. Ему было интереснее в роли безродного космополита. Сидеть в парижском кафе и наблюдать кружение уличной толпы. Чем хуже – тем лучше. Он, судя по разным окольным свидетельствам, довольно рано решил, что в крайнем случае можно всегда покончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от бремени ответственности.

Когда даже ему стало ясно, что пора отбывать из гитлеровской Европы, начались серьезные проблемы с документами: испанские пограничники не давали ему визу во франкистскую Испанию (где евреи были в относительной безопасности) на границе с Францией. Визу в конце концов дали через несколько суток, но было уже поздно: такое впечатление, что Вальтер Беньямин воспользовался временным отказом в визе, чтобы осуществить давно задуманный план самоубийства. Никто не знает, где его могила. Та могила, которую показывают туристам, вроде бы фиктивная. Его тело, считает Герхард Шолем, исчезло, чтобы не принадлежать тем, кто незаконно воспользовался его мыслями. Вроде Ханны Арендт, отрицавшей традиционно-иудаистские мотивировки в мышлении Беньямина: она считала, что его фатализм связан не с сознанием обреченности судеб еврейства (мол, евреям в Европе нечего делать), а что ему просто не повезло, как в немецкой детской

сказке, где все идет не так, если на тебя косо посмотрит горбун-карлик.

Как это все похоже было на наши споры в советской Москве 70-х годов с идеологическими расколами, религиозными исканиями и апокалиптическими настроениями. Вот я тоже иногда хватаюсь за Библию, как Шолем, думаю: надо все это изучить, этот первоисточник нашего мышления. Но потом думаю: а может быть, все-таки заглянуть на вечер к одной очень любопытной знакомой, выпить, поболтать, посплетничать? Я увлеченно прокручивал у себя в уме книгу Шолема о Беньямине, проводя удивительные параллели в отношениях со своими московскими друзьями и близкими в настоящем и прошлом. Пока мне не приснился сон. Темная улица, фонарь, аптека, я вижу перед собой спину человека, мы идем в одном направлении, я понимаю, что ему это не нравится, но мне некуда свернуть, мы заходим в какое-то огромное помещение – то ли бар, то ли отель, где бессмысленная толкучка. Я наталкиваюсь снова на этого человека, и он, развернувшись ко мне лицом, говорит:

«Я Герхард Шолем, оставьте меня, наконец, в покое. Это не ваша история. Чего вы ко мне пристали?»

Вместе по отдельности

Книга мемуаров Элиаса Канетти (в переводе с немецкого), посмертно опубликованная лишь в 2005 году (и вопреки завещанию покойного), воспринимается каждым европейцем с опытом жизни в Англии на свой счет. Ничего общего у меня с Канетти вроде бы нет. Канетти прибыл в Лондон из нацистской Вены в 1939 году. Он прожил в Лондоне сорок лет. Вел он себя в этой стране как Нобелевский лауреат, еще не получивший Нобелевской премии. (Он ее-таки получил в 1981 году.) Он ощущал себя памятником исчезнувшей цивилизации – венских кофеен, салонов и больших идей. Он считал, что представителя этой цивилизации должны узнавать с первого взгляда, с первого слова, сказанного им даже случайному собеседнику. Тех, кто не угадывал в нем гения своего времени, своей эпохи, он презирал. Это такое состояние переполненности самим собой. Ты ходишь по чужому городу как тайный агент собственной судьбы: в страхе, что тебя разоблачат и в бессознательной обиде на тех, кто не догадывается о твоей секретной миссии. Поскольку к тому времени, когда он прибыл в Лондон, была опубликована лишь одна его книга – роман «Аутодафе», а трактат своей жизни «Толпа и Власть» он сочинял всю жизнь, неудивительно, что мало кто из лондонских собеседников догадывался, кто такой этот австрийский беженец, венский гений из болгарских евреев.

Из немногих, кто читал его роман, один был переводчиком с китайского, а другой – поэт, полжизни проживший в Китае. Если учесть, что заинтересовались они «Аутодафе» Канетти отчасти потому, что главный герой романа – синолог, то есть китаист, то в лондонских отношениях Канетти можно наблюдать некую китайщину. Но знаком был Канетти, в действительности, со многими и многих знал довольно близко. Тех, для кого он был слушателем. Он умел внимательно слушать. И вовремя пересказать историю из чужой жизни. Это был редкий талант. Он, в каком-то смысле, был нарасхват. И среди аристократов, и среди дворников. Не так уж их было мало, в самом деле. Скажем так: просвещенное меньшинство. Среди них – местный полицейский, английский бобби, прогуливающийся по кварталу района Хэмпстед (и я тут живу), где Канетти прожил все свои лондонские годы.

При всей своей общительности, он вел совершенно сепаратное существование в Лондоне. Моя приятельница жила на соседней с Канетти улицей. Они не были знакомы, но раскланивались. Однажды она увидела этого пожилого еврея, скорчившегося за рулем автомобиля. Автомобиль никуда не ехал. Но мотор работал. Так поступают самоубийцы: чтобы отравить себя выхлопными газами, если через трубу загнать газ вовнутрь кабины. Еврейская, так сказать, смерть. Моя знакомая взволновалась и тут же обратилась к проходившему мимо полицейскому. Тот взглянул на машину и успокоил ее: «А, так это мистер Канетти! Он любит уединяться, когда сочиняет свои книги». Часы, проведенные Канетти в кабине автомашины, посреди богемно-фешенебельной улицы, были подобием венского кафе. Своего рода батискафом, где пребывало его сознание, глядящее на мир изнутри – вовне, через стекло.

Несмотря на общий тон индифферентной объективности, в его книге мемуаров есть и персонаж, вызывающий у него пароксизм патологической ревности, ес-

ли не ненависти. Это Айрис Мердок. У них был любовный роман, считается, что он вывел ее в большую литературу. Это – самая скандальная глава книги, потому что их отношения описаны Канетти с анатомическими подробностями – и тела и души. Как она раздевалась и ложилась под него без всяких предисловий. Ее бездарное нижнее белье, шерстяные поддевки, большие ноги с тяжелой ступней. Как она занималась сексом автоматически, без звука, лежа совершенно неподвижно. Лишь по замутненному взгляду можно было понять, что она кончает. Потом вставала, смотрела на часы, быстро одевалась и уезжала на своем велосипеде.

Он, очевидно, не понимал, что женщина не может кончить, если она мужчину не захотела. И если Айрис лежала как бревно, боясь своего ментора-любовника, то виноват в этом сам Канетти, а не ее темперамент. Но Канетти не интересовала проблематичность их отношений. Они существовали как будто в параллельных мирах, и несмотря на моменты физической близости, никак не могли пересечься душевно, закоротиться друг на друге. Айрис Мердок раздражала его именно тем, что была слишком для него открыта. И в первую очередь, открыта его словам, историям из его жизни (два ее романа используют Канетти в качестве прототипа главного героя). Его бесило, что она его слишком внимательно слушает. Внимательнее, чем он слушает других и, в частности, ее. Более того, Айрис внимательно слушала не только его. Она внимательно слушала всех своих любовников (и любовниц). И все аккуратно записывала. Что услышит, то и запишет.

Этим она и вызывала у Канетти плохо прикрытое чувство зависти. Потому что он использовал свой дар слушателя почти мистически, преобразуя свой опыт в нечто иное, высокое и глубокое, в литературно-философский трактат о толпе, власти, массовом психозе. В то время как Айрис Мердок изготавливала из услышанного мелодраматические романы. Она их накатала не меньше

сорока, пока будущий Нобелевский лауреат писал свой единственный глубокомысленный трактат. С точки зрения Канетти, она выбирала в любовники тех, у кого она могла чего-нибудь украсть интеллектуально. Она обворовывала не сердце, а ум. Но при этом, признается Канетти, в жизни она никогда никого не оболгала, не оклеветала. Никогда не предавала одного любовника ради другого, не очерняла одних в глазах других. Она всем хранила верность – коллективную верность каждому из ее бывших любовников, как у автора к его персонажам.

Может быть, это и вызывало у него приступы ревности на грани бешенства. Канетти готов был считаться «ником» – никому не известным, но уникальным одиночкой. Но его не устраивало быть «одним из многих». По его словам, он стал для Айрис Мердок «одним из ингредиентов в кастрюле ее интеллектуальной похлебки», которой она потчевала своих читателей. Равным среди равных среди демократии ее гарема, где даже у мужа не было особого трона. Как всякий анархист, Канетти нуждался в иерархии, чтобы ее ниспровергать. Айрис Мердок олицетворяла собой принцип взаимозаменяемости в отношениях между людьми. Эта непредвзятость и отсутствие «эксклюзивности» были для Канетти ненавистны, потому что иерархия все равно была, он ее чувствовал кожей, но иерархия эта не была очевидно подана, это была скрытая иерархия. В этом он видел лицемерие. Поэтому больше всего он ненавидел в Англии светские сборища – party – с их видимой демократией в общении.

Он перечисляет особенности этих светских сборищ, как будто описывает отвратительные черты некоего экзотического монстра. Это описание толпы, где люди прижаты друг к другу и тем не менее не касаются: ни физически, ни духовно. Чем известнее человек, тем незаметнее он себя ведет, и обменявшись с ним парой фраз, ты ничего о нем не узнаешь, как он ничего не узнает и о тебе. В большинстве случаев ты так и не узнаешь, с кем ты только что обменялся мнениями по незначительному (или значи-

тельному) поводу. Скорее всего, ты больше никогда с этим человеком не встретишься. Это общение, откуда изъят весь прошлый личный опыт каждого из присутствующих.

В этом смысле его описание светских мероприятий в Лондоне эпохи Второй мировой войны ничем не отличается от описания битком набитого вагона метро или автобуса в наше время. Все тут едут в одном направлении, но как бы по отдельности. В мемуарах Канетти есть описание сборища, давшего название всей его книге: «Коктейль во время блица»*. Речь идет действительно о светской толкучке с коктейлями, танцами и обжиманцами во время налета немецких бомбардировщиков на Лондон. Шикарный особняк в Хэмпстеде был битком набит гостями, они стояли на лестницах с бокалами, сидели в саду, обнимались на кушетках в гостиной. Через дорогу в дом попала зажигательная бомба. Пожарники-добровольцы (многие из них могли бы быть среди гостей) сновали из входной двери в сад, набирая песку и воды для тушения пожара по соседству. Они были как будто невидимыми. Гульба среди гостей продолжалась. Каждый выполнял свои гражданские и светские обязанности – от пьянства до тушения пожара, делая вид, что другой реальности не существует.

Именно такую картину представлял собой Лондон после июльского взрыва исламских бомб. Уличная жизнь довольно быстро восстановилась. Несмотря на видимость хаоса, в набитом битком автобусе, куда мне удалось влезть, все пассажиры были вместе, но одновременно отдельно. Никто никого не толкал. Прижатые друг к другу, люди как будто не касались друг друга. Автобус вместе со всеми по отдельности медленно продвигался в одном нужном направлении. Все делали вид, что ничего не произошло. Так делал вид я, когда за день до этого был на светской толкучке, вроде тех, что описыва-

* *Elias Canetti. Party in the Blitz: the English years. London: The Harvill Press, 2005.*

ет в своей книге Канетти. Прямо из дверей я попал в рой голосов, взглядов, улыбок. Меня представили какой-то даме с замечательным открытым лицом. Я тут же, по-английски, выбросил вперед руку, сжал ее – в своей. И почувствовал, что у руки отсутствуют пальцы. Кисть руки заканчивалась отростком, вроде культи или клешни. Врожденный дефект. Я сделал вид, что ничего не заметил. Она продолжала улыбаться, я продолжал обмениваться любезностями, приветствиями. Потом, периодически сжимая пальцы, я еще долго продолжал ощущать пустоту этого рукопожатия – пространство без чужой ладони, без кисти, без пальцев.

Сидя в лондонском автобусе в тот роковой день четырех взрывов, я воображал себе, какой диалог мог бы произойти между оторванными частями тел пассажиров, взлетевших на воздух одновременно, в этом фейерверке насилия. Головы, ноги, руки. (На взорванном автобусе – снесло второй этаж – сияла, кстати, реклама какого-то фильма ужасов, крупными буквами: **OUT-RIGHT TERROR... BOLD AND BRILLIANT London***. Что сказала бы одна оторванная рука – другой, столкнувшись в воздухе? Зависит, конечно, откуда она родом.

«Sorry!» вежливо уклонилась бы от общения рука англичанина.

«Have a nice one!» приветственно взмахнула бы рука американца, желая тебе приятного денька.

«Ну куда лезешь, блин!» замахивается на встречного рука нового русского.

«Я не блин, я подданный ее Величества!» отвечает ему рука старого эмигранта из России. Мемуары Канетти написаны такой же вот оторванной под бомбежкой рукой интеллигента австро-венгерской империи.

* «Чистый ужас – смелый и блестящий!»

Власть абсолюта

Сибирской водке я (исключительно по метафизическим соображениям) предпочитаю «Абсолют». Об этом хорошо осведомлен бармен Тони из заведения PJ's. Бар PJ's в Ковент-Гардене (аббревиатура, которую можно расшифровывать и как прозвище неудачливого игрока в гольф, и как просто-напросто сокращение слова «пижама») – заведение по духу своему американское, потому что управляет им американец Билл. Заведение это – через дорогу от Би-би-си, где я бываю два раза в неделю. По крайней мере раз в неделю я поэтому бываю у Билла. Отец Билла был священником, и Билл считает, что он пошел по стопам своего отца: его завсегдатаи для него – прихожане, они у него причащаются и ему исповедуются, и оставляют в его приходе пожертвования. Ежедневные пожертвования из моего кармана – довольно внушительные: каждый дринк стоит не меньше четырех-пяти фунтов (около десяти долларов).

Я веду с Биллом продолжительные беседы о духовных аспектах российского пьянства. Никто не будет отрицать, скажем, что система заглывания водки близка к упражнениям йогов. Вдох, заглот, выдох. Или кардинально иная школа: выдох, заглот, вдох. Британская манера – постепенного оглушения себя алкоголем на протяжении многих часов – соотносится с русской методой поглощения водки как физика Ньютона с квантовой ме-

ханикой. Я имею в виду, что рюмка водки действует как квантовый скачок. Человек попадает в другое измерение. Он уже не тот, он – другой. Этот «другой» выпивает свою рюмку и совершает еще один квантовый переход в иную вселенную, и так далее. Пока совершенно перестает узнавать и себя, и других. Согласно еще одной религиозной концепции русской выпивки, на третьей рюмке мы достигаем небесных сфер, своеобразного рая, и все остальные рюмки – это бесплодные попытки в этот квантовый рай вернуться. Так или иначе, каждая выпивка для нас – это индивидуальный религиозный опыт. Мы, конечно, любим обменяться этим религиозным опытом с другими, но в домашней, желательно, обстановке, с близкими, желательно, друзьями.

Вся же система выпивки в барах от Лондона до Нью-Йорка рассчитана на то, чтобы незнакомый человек в незнакомой обстановке и необычных обстоятельствах становился твоим лучшим другом на время этой самой выпивки. Если Билл – пастор этого прихода, то бармен Тони тут – главный режиссер театрального ритуала выпивки по-британски. Без гениального бармена нет бара. Это он знакомит всех друг с другом, он знает, кто что пьет, кто с кем и как, вообще осведомлен о привычках каждого. Он успевает иронически прокомментировать всё и всех, жонглируя при этом стаканами и бутылками, а в промежутке дарит какой-нибудь нетрезвой даме тут же мастерски сделанную из бумажной салфетки розу.

Никто не знает, откуда родом Тони. Носатый, слегка небритый, и когда улыбается, все вокруг начинает сиять – бутылки, дубовые панели, его собственная лысина. Может, ливанский еврей? Алжирский француз? Знает советскую историю вплоть до отчества Брежнева. Может назвать имя сенатора штата Аризона.

«Откуда ты родом?» периодически спрашиваю я Тони. Он улыбается и изготавливает еще одну бумажную розу из салфетки. Или начинает жонглировать бутылками. Потом спрашивает:

«А ты откуда?»

Этот вопрос – шутка. Он прекрасно знает, что я из России. Все тут знают, откуда я и чем занимаюсь, как попал в Англию. Но иногда рядом оказывается новый человек, и если завязывается разговор (кто, откуда, чего), мне в тысячный раз приходится объяснять, как и почему я уехал из брежневской Москвы. В конце концов мне это надоело.

«Я родился в Танжере от русского террориста-троцкиста и палестинской проститутки», сообщил я однажды, знакомясь с одной глазастой дамой, которая захотела узнать про меня всё. В этот момент я услышал грохот бутылок и стаканов: ошарашенный подробностями моего происхождения Тони стоял с открытым ртом. Я сообщил присутствующим, что мой отец-троцкист – он научил меня говорить по-русски – вернулся в Россию, где был арестован и погиб в лагерях, а мать вернулась в Палестину, откуда, в эпоху британского мандата, увезла меня в Лондон, где я в конце концов стал работать на Би-би-си. Все поверили. А как тут не поверить, когда опровергнуть невозможно. Звучало убедительно.

Особенно в связи с тем, что Тони подливал мне все больше и больше в мой стакан. В стакане фирменный напиток этого заведения под названием Double Z, то есть ZZ – Zinovy Zinik. Это – двойная порция водки «Абсолют» в широком стакане, полном льда, а сверху выжимают две крупные дольки (и бросают прямо с коркой в стакан) горького зеленого лимона «лайм». Я этот напиток выдумал сам, попав в это заведение впервые. Я хотел поразить бармена. И поразил. Я-то вообще любитель виски (пополам с водой), но когда я появляюсь перед Тони, мне тут же выставляют «двойное З». Тони в этом смысле блюстителъ традиции. Иногда мне страшно хочется виски. Я умоляю Тони: «Виски! виски!» Но Тони неумолим: мол, или «двойное З», или вали отсюда. Если бы только двойное. Тут-то и начинается отличие американского бара от британского паба.

Тони объяснил мне разницу. В английском пабе, где бутылки за стойкой подвешены вверх ногами, тебе отмеривают порцию, как бы надаивая отмеренную норму из бутылки. В американском баре тебе наливают из бутылки в стакан самым обычным образом. Я думал, что в бутылках стоят такие заслонки, что из горлышка отливается лишь отмеренная порция. Но Тони сказал, что это – ложь. Бармен знает, сколько наливать, отсчитывая про себя – раз, два, три! Но если клиент понравился, то можно и дальше отсчитывать: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Я что-то не могу остановиться. Под влиянием бармена Тони.

«Ты откуда родом?» спрашивает Тони, хитро улыбаясь, с бутылкой наготове. Он ждет еще одной сногшибательной версии моего происхождения. «Сногшибательной» – действительно. В конце этих историй я уже не держусь на ногах. В конечном счете я добился того, что при английской системе прогрессивно-постепенного потребления алкоголя его эффект приближается к русской традиции квантового перескока в иную реальность.

Полное невзаимопонимание

Моим водочным развлечением под названием «Двойное З» (Double Z) заинтересовался мой сосед по барной стойке. Представился как Майкл. Легкая небритость, дорогой черный костюм с майкой под белой рубашкой, кожаные туфли и тяжелый акцент, короче – стереотип еврея-бандюги из Ист-Энда. Каковым он и оказался. Родители откуда-то из Восточной Европы. Крутит большими деньгами. Но в душе – коммунист. И в Бога, конечно, не верит. В России никогда не был, но уважает русскую революцию. Без революции он жизни не мыслит. Ну прямо как Эрик Хобсбаум. Марксистский историк. Выяснилось, что Майкл прекрасно знает, о ком идет речь.

Эрик Хобсбаум попал в Англию как еврей-беженец из гитлеровской Германии. Коммунистом стал еще в Берлине. И оставался в британской компартии до последних дней – не своих, а своей компартии. Сам он все еще жив и здоров: он пережил не только нацизм, но и коммунизм. Живучий историк. Все годы, пока он носил партийный билет, Эрик Хобсбаум неукоснительно следовал идеологическим инструкциям Политбюро и мировую историю видел как бы из амбразуры Кремлевской башни. При этом он писал замечательные, остроумные и проницательные исторические трактаты о фатальных недугах капитализма. Недавно я видел его по телевизору в связи с полемикой о новом американ-

ском империализме. Он размахивал руками так, как будто выстраивал вокруг себя стены. Это были идейные стены – он отгораживался от реальности некими фантомами. Никакой реальной России или Америки для него не существовало: это были лишь эмблемы, тотемы, тении. Как шаман, он переставлял их, темнил ими в нужном порядке и направлении, чтобы оправдать собственные страхи и фобии в Германии и в Англии. В либеральной Англии его до распада коммунизма держали как экзотического большевика в зоопарке, чтобы показывать публике в эпоху холодной войны. И до сих пор с ним носят как с писаной торбой. В Англии любят отщепенцев и диссидентов с даром красноречия. Но как ему самому за все эти годы не опостылел капитализм с коммунизмом?

На этот вопрос он пытается ответить в своей автобиографии. Сводится его ответ к тому, что коммунисты 30-х годов в Берлине не сомневались, что история началась с Октябрьской революции в России. Это и значило идти в ногу с историей вне зависимости от того, что происходило с советской властью. Тем более, когда эту твою идеальную страну все вокруг поливают грязью, ты начинаешь ее защищать из чувства противоречия и верности заветам юности. Короче, в этом мире наличие руководящего принципа, принадлежность великой идее были для него важнее содержательного смысла этой идеи, моральных аспектов этого принципа. Безыдейное существование смысла (идеи) для него не имело. Он понимал, что современному читателю понять это крайне трудно.

«Невозможно объяснить тем, кто не жил в эпоху всеобщей катастрофы в Европе, что значило оказаться в мире, обреченном на гибель, который и миром уже не был – некий полустанок между мертвым прошлым и несостоявшимся будущим. Исчезло не только будущее: не за что было зацепиться и в настоящем».

Но то же самое чувствовали и по другую стороны стены. Один из первых серьезных разговоров в мой первый

приезд-возвращение в Россию пятнадцать лет спустя был именно про это: «Вы никогда, Зиник, не поймете, что это значило: пережить всю эту московскую тьму, отчаяние и ужас, когда нас тут избивали по подъездам и тащали на допросы. Вас здесь не было». Но я-то пережил этот страх до отъезда, хотя бы отчасти, в то время как мой собеседник никогда не был по ту сторону самого себя, так сказать, вне собственной прежней жизни.

Разве мог я когда-нибудь объяснить своим московским друзьям, что это значило – оказаться вне России за «железным занавесом» (по собственной воле или насильственно изгнанный), там, откуда никогда не попадешь туда, где осталось твое прошлое, не получившее продолжения. Прошлое остановилось, не став настоящим, а сам ты выброшен на «некий полустанок между мертвым прошлым и несостоявшимся будущим». Когда ясно, что уже никто не поможет (и не надо помогать). В конце концов это состояние полной безнадежности, истерического отчаяния (молча или в виде огромного количества слов) порой становится неотличимым от смертельного заболевания, перестает быть ментальным и становится материальным фактом разложения и тела и духа.

Вырваться из этого клинического режима можно лишь одним путем: начав другую жизнь. Отсюда моя идея о том, что в эмиграции человек молодеет, потому что начинает отсчитывать свои года с того момента, когда распрощался с прежней жизнью. И тут до меня дошло, что это событие – мое отбытие из России навсегда (с пищащей машинкой и семиструнной гитарой в руках) – произошло ровно тридцать лет назад. И я отмечаю этот тридцатилетний юбилей в лондонском баре в обществе случайного собеседника, еврея-деляги, анархиста в душе, выпивохи из лондонского Ист-Энда, беседуя о марксистском историке из нацистского Берлина под шведскую водку с перуанским лимоном. И мы прекрасно друг друга понимаем.

Потому что «непонимание» – столь же существенная и необходимая часть общения, что и взаимопонимание. Дело в том, что опыт «непонятности» есть у каждого, и поэтому момент не-взаимопонимания – лишь повод вспомнить свой собственный аналогичный опыт и собственную уникальность. Момент непонимания и создает универсальное ощущение особости. Именно за это универсальное ощущение избранности двух случайных собеседников из разных концов мира в лондонском баре мы и выпили.

Дымовая занавеса

Диета американского пролетария – гамбургеры с чипсами – создана для японских тяжеловесов: я никогда не видел такого количества толстых людей. Но никто при этом не озабочен. Более того, у всех вполне счастливый вид. Особенно у тонких. А таких в Америке тоже много. Просто толстые бросаются в глаза, в то время как тонкие бросаются на тебя. В этом глубочайшая разница темпераментов как следствие телесной комплекции. Мой американский научный консультант, профессор Билл, открыл мне тайну: у толстых людей вырабатывается больше эндорфина – он действует на клетки мозга, которые заведуют эмоциями счастья; и кроме того, полнота способствует выработке гормона лептина, связанного с сексуально-эротическим механизмом. Поэтому толстые люди гораздо сексуальнее и счастливее худых. Об этом догадывались наши бабушки. Человек толстый не будет бегать, сломя голову в поисках счастья. Он уже удовлетворен своей страной, своей супругой и судьбой. Это только худые люди ведут себя оголтело и носятся как угорелые. От того они, согласно этой теории, такие худые. Толстый человек становится все толще и толще. А худой человек все больше и больше сморщивается. Открытие это сделал доктор по имени Уотсон, но не тот, кто был другом Шерлока Холмса. Хотя пресловутая худоба великого детектива отчасти объясняет, почему

у него был такой беспокойный ум и неудовлетворенная душа, с периодами мрачности и затворничества, игрой на скрипке в клубах опиума.

И опиум, между прочим, ему необходим был из-за его худобы, чтобы компенсировать отсутствие этого самого эротического эндорфина, натурально возникающего у полнотелых. Замечали ли вы, что все закоренелые наркоманы – худые? Я давно задумывался, по каким признакам разделяются наркоманы и алкоголики в литературе. Одно время я полагал, что они сменяются поколениями, от дедов к внукам. Например, поэт Озерного края Уордсворт любил посидеть за стаканчиком другим виски. Однако молодые последователи его поэтической школы, вроде Кольриджа или Томаса де Квинси, употребляли опиум. Опиум в те годы или растворяли и пили в жидком виде, как вино, или же, еще чаще, просто жевали, скатав в шарики, иногда прямо за обеденным столом. Поэтому легендарная книга де Квинси – это исповедь *opium eater*, то есть едока опиума, а вовсе не курильщика. В те годы опиум можно было купить в аптеке как болеутоляющее средство, и фраза Маркса о религии как опиуме для народа подразумевает не дурман, а прежде всего успокоительное средство. В наш век Хемингуэй и Фолкнер были явными алкоголиками, а Уильям Берроуз и его компания взялись серьезно за гашиш. Битники вроде Керуака, поколением младше, опять взялись за бутылку.

Отключка в той или иной форме необходима каждому сочинителю (да и не только сочинителю, обыкновенному вруну тоже). Но разница в методе обалдевания сказывается в первую очередь на стиле: сюжет развивается у «наркотического» сочинителя не как драма характеров или идеологическая коллизия, а как некая цепь буддийских перевоплощений. Даже концепция внутренней и внешней свободы, столь связанная с противопоставлением Востока и Запада, тоже в конечном счете отражает предпочтения одних – алкоголю, а других – нарко-

тикам. А это, в свою очередь, накладывает отпечаток на стиль жизни.

Когда английский поэт Оден вместе со своим другом и любовником, прозаиком Кристофером Ишервудом, рванули из убогой жизни предвоенной Англии в счастливую Америку, их стали называть крысами, сбежавшими с тонущего корабля Британской империи. (Я это к тому, что эмигрантов за отъезд из страны в трудную минуту осуждают не только в России.) Но сами они, переплыв Атлантику, тут же переругались именно из-за образа жизни. Оден предпочитал все время торчать, напиваясь и ностальгируя, в барах Манхэттена, как будто он и не выезжал из Лондона, в то время как Ишервуд перебрался в солнечную Калифорнию, стал делать йогу и курить марихуану. Оден все чаще возвращался к классическому рифмованному стиху, в то время как Ишервуд склонялся к гомосексуальной исповедальности без знаков препинания.

Или в русской литературе: в начале XX века нюхали кокаин и читали Надсона, но уже Пастернак с соцнатуральным Фединым предпочитали увлекаться водкой вплоть до Венички Ерофеева и алкоголиков моего поколения. А вот Виктору Пелевину эти водочные «наши» претят: он человек анаши. Так мне, по крайней мере, казалось, пока я не привел его в свой частный питейный клуб Colony Room в лондонском Сохо, где он стал вдруг пить вино пивными кружками. Это оригинально, но не настолько, насколько оригинальна его проза. Не то чтобы кто-то удивился, кроме меня: в этом месте еще не такое видали. Заведение «Колони» возникло в ту эпоху, когда пабы, то есть публичные бары, все еще закрывались с трех до шести, и поэтому умные люди открывали частные питейные клубы, где разрешалось всё. Тут когда-то поил всех своих друзей Фрэнсис Бэкон, король богемного Сохо 1950-х годов, а сейчас пьянствует Демьян Хёрст. Оба, кстати, фигуративисты, в отличие от их товарищей по кисти в Америке, где явно превалировал аб-

страктный экспрессионизм – немыслимый без влияния наркотиков. Вполне возможно, Пелевин впал в инкарнацию пьющего человека; или же пародировал Демьяна Хёрста, пьющего болгарское вино «Бычья кровь», поскольку тот делает инсталляции в виде разрезанных на куски коров в формалине.

Интересный, короче, был вечер. И разговор интересный, но только он несколько смылся из моих мозговых извилин алкогольной жидкостью (не знаю, существует ли алкоголь в твердом виде? неплохая коммерческая идея!). Помню лишь, как Пелевин снял свои черные очки, глянул мне в глаза светлым взором и сказал, что в его силах вывести меня к свету и истине, если я готов отправиться с ним к тибетским далай-ламам или египетским мумиям. Но я сказал, что как только встречаюсь с истинной, тут же сворачиваю в темный переулочек. Вот уже четверть века я думаю на одном языке, а чувствую на другом (или наоборот), и уже непонятно, на каком языке изъясняюсь. Я Homo Duplex, существо двойственное. А если учесть, что мыслю я по-русски, душа у меня – еврейская, а сердце – английское (поскольку поддается пересадке), то ни тибетские далай-ламы, ни египетские мумии мне не помогут. Раздваиваться и расстраиваться по пустякам – моя судьба. В этот момент я увидел двух Пелевиных. Я направился к стойке, чтобы заказать еще одну пинту вина для второго из них, но когда вернулся, ни одного из Пелевиных не было. Если встретите кого-нибудь из двоих, передайте, что его всегда ждет пинта опиума (или портвейна) в Лондоне.

Старая развалина

В годовщину разрушения мусульманами нью-йоркских башен-близнецов (и других катастрофических юбилеев этого года) я задумался о роли руин в нашей жизни. И в частности, в моей личной жизни (она в руинах, но не будем в данный момент производить раскопки). Я довольно долго не понимал, что заставляет толпу в Манхэттене простаивать часами перед котлованом на месте бывших башен. На что они, собственно, пялятся? Чего они там высматривают? Лишь в Риме, городе руин (где я навещал свою дочь), до меня дошла простая мысль, что движимы эти люди теми же чувствами, что и туристы, созерцающие, скажем, осколки античной плиты с именем римского сенатора или обрубок колонны, заросший диким виноградом, на римском Форуме. Это вовсе не желание приобщиться к красотах древности. Тут, скорее, налицо садомазохистские чувства. Нас к этим развалинам притягивает страшное любопытство к хаосу, бездне на краю, к насилию и разрушению. Идея того, что Рим – это Манхэттен две тысячи лет назад, крайне привлекательна. Наш современник, стоящий перед античными руинами, внутренне ахает: это ж надо, какой был дворец, какая площадь перед дворцом, какая стена вокруг площади, какая власть была у человека, и вот, на тебе, что мы вместо этого имеем? – груда камней, обрубки колонн, рухнувшая аркада. Было и нет. И чего тогда

вообще стараться. Развалины успокаивают народное сознание: они уравнивают все амбиции и таланты. С другой стороны, руины придают глубину и солидность нашему эфемерному настоящему: если есть руины, значит, было и великое прошлое. Руины, как всякое общее несчастье в прошлом, сближают нас.

В наше время телерепортажей мы пресыщены картинами разрухи и трущобного существования – от Таиланда до Мексики. Но даже в самых жалких кварталах третьего мира, где жилье – это груды старой фанеры, рифленого железа и ящиков из-под пива, мы видим попытку человека выстроить свою жизнь, крышу над головой, для себя и для семьи. На картинах немецких романтиков руины – это развалины замков, дворцов, античности. Это аллегории временности земного существования, человеческой цивилизации. На картинах же российских предшественников соцреализма (в Лондоне сейчас – огромная выставка «Русский ландшафт») мы видим упоение разрухой: сельская дорога размыта и превращена в непроезжий грязный тракт; добротный сруб осел, крыша течет; стены церкви, когда-то выстроенной с любовью по итальянскому образцу, облуплены и в трещинах, шпиль покосился. Это не руины – жертвы времени, войн, нашествия вандалов. Нет, это – отсутствие ремонта. Развалины – это отражение, конечно же, национального сознания. У каждого народа своя трущоба. Каждый народ заслуживает свои руины.

Древний Рим, со школьной скамьи ставший для людей моего поколения частью личного сознания (взамену турусов и колес советской жизни), – это руины не просто города, но и внутренность некоего разрушенного мозга цивилизации. Нашего собственного прошлого. Я помню, когда я испытал обостренное ощущение близости с античностью. Мой отец, потерявший ногу на фронте Второй мировой, всю жизнь проходил на протезе. Его голая нога, обрубленная у колена, на железяке протеза, прочно запечатлелась у меня в памяти. Именно про нее

я вспомнил, когда, еще мальчишкой, оказался с отцом в Пушкинском музее перед Афродитой из коллекции Хвощинского: эротика ее левого бедра обрывается у колена, и дальше, вместо голени, торчит металлический прут. Как отцовский протез. Мой отец в моих глазах стал древнегреческим героем с отбитыми конечностями.

Инвалид с ампутированной ногой в определенные моменты напоминает своей беспомощностью младенца. Более того, зародыш с еще не развившимися членами похож на старика с ампутированными частями тела. Это состояние промежуточности – обрубка или недоразвитости – можно перенести и на здания: развалины ли это бывшего дворца или же недостроенное здание облизполкома? Именно в состоянии промежуточности, перехода, миграции из одной жизни в другую нас тянет к руинам прошлого.

Руины нашей жизни – провалы и дыры в античной конструкции – заполняются воспоминаниями, мифами и легендами о наших бывших современниках. Нынешний визит в вечный город стал для меня повторением римских маршрутов с ментором моей московской юности критиком и коллажистом – легендарным изготовителем самодельных почтовых открыток – Александром Асарканом (он скончался в Чикаго в феврале 2004-го). Выехав из России четверть века назад, он первым делом попал в свой любимый Рим, где мы и встретились после долгих лет разлуки. С момента визита Асаркана Рим, конечно, изменился, но его античные монументы – все те же. Здесь, в римском Пантеоне, Асаркан пересказывал мне письмо властям с просьбой о выездной визе, где он убеждал советскую власть, что никакого толку от него нет нигде и что нет никакой разницы, где он закончит свои дни: продавливая старый диван в своей московской коммуналке или где-нибудь в Риме. Мол, старую развалину тянет к руинам. На нас, стоявших под куполом Пантеона, сверху бил свет. В крыше зияла огромная дыра. Так было задумано архитекторами изначально, во-

все не из-за отсутствия ремонта. (С какой целью – неясно. Может быть, в Средневековье каждый римлянин имел право раз в году сбрасывать в эту дыру помои, в рамках амбивалентности верха и низа, элитарного и площадного, аристократического и пролетарского, церковности и юродства. Асаркану, я думаю, это псевдоисторическое объяснение, наверное, понравилось бы.) Солнце светило сквозь сферическое отверстие в куполе – единственный источник света в этом здании.

Как будто свет способен проникать лишь сквозь прорехи нашей окаменевшей памяти.

Бар под крышей мира

Есть города-гиганты, вроде Бангкока или, скажем, Лондона, похожие сами по себе на экзотические страны: перед тем, как выйти на улицу, ты должен разработать свой маршрут по карте и изучить путеводитель с инструкциями, скажем, о том, что в местной кухне съедобно, а что для иностранца – чистый яд. А есть города, похожие по своей этнической пестроте и размаху на целую страну, но пребываешь в них как будто в собственной уютной квартире. Именно таков нью-йоркский остров Манхэттен.

Легендарная панорама Манхэттена с силуэтами небоскребов не существует для самих манхэттенцев. Это взгляд извне, взгляд чужака: ведь этот вид открывается лишь с другого берега Гудзона, из Джерси-Сити. Да и самих небоскребов в каком-то смысле не существует, если, конечно, не залезть на крышу и посмотреть на город сверху вниз, или, наоборот, задрать голову, выворачивая шею, чтобы различить шпиль в небесах. Когда шагаешь по улице, ты пронизан светом – просторы неба между небоскребами отражаются в застекленных стенах домов и гигантских витринах так, как будто ты находишься в квартире с огромными окнами, где уютно и светло даже в пасмурную погоду. И это ощущение, что ты у себя дома, повторяется на каждом этаже этого урбанистического многоэтажного гиганта. Улицы – это ко-

ридоры, это – коридорная система огромной коммуналки, но только с веселыми соседями, хотя и не без коммунальных скандалов.

Теперь представьте себе, что в этой квартире удалили входную дверь. А Всемирный Торговый Центр (World Trade Center) и был таким гигантским портиком в манхэттенскую квартиру. В одночасье твой дом потерял уникальную атмосферу уюта, душевной безопасности, безопасности. Дверь выбита сапогом. Оседает пыль. В душе и на улице – сквозняк.

Всю цивилизованную часть Манхэттена, от Гарлема на севере до Сити на юге можно пройти пешком чуть ли не за час. Именно потому, что все расстояния тут, практически, пешеходные, крайне соблазнительно вообще не пользоваться транспортом, и от этого периодически страшно устаешь, потому что ходишь по городу больше, чем где бы то ни было в мире. Так и тянет заглянуть в очередной бар, как к себе на кухню, для передышки. Многоэтажность этой коммуналки обеспечивает огромное количество клиентов на каждом перекрестке и от этого – такое гигантское количество заведений в Манхэттене, и все открыты круглые сутки.

И лучший вид на весь этот коммунальный муравейник открывался из бара под крышей World Trade Center. Это был не самый красивый бар на свете. Но за это мы его и любили: это была копия брежневских заведений Москвы 70-х годов – пластик с дешевым плюшем, багровых и серых колеров. В действительности, всё, конечно же, происходило наоборот: это Москва копировала Нью-Йорк. В свое время Сталин командировал в Манхэттен своих архитекторов и те буквально срисовали, вплоть до малейших деталей, все главные небоскребы, чтобы потом соорудить их копии в Москве – на Ленинских горах, на площади Восстания и т.д. Когда я впервые попал в манхэттенский Центральный парк, я со слезами на глазах увидел родную зеленую скамейку прямо из Парка культуры им. Горького. Не потому ли Манхэт-

тен производит такое домашнее впечатление на москвичей? Это была встреча с оригиналом, ставшим в моих глазах ностальгической копией.

Такое же ощущение вызывал и бар под крышей World Trade Center. На брежневском дизайне сходство кончалось. Бар был битком набит пьющей, галдящей, танцующей толпой клерков из Сити, расслабляющихся после дикой гонки за долларом в своих офисах. Несмотря на толкучку, тебя обслуживали практически мгновенно два-три бармена. Они, как боги, видели и слышали всё и всех сразу и одновременно. Более того, когда год спустя я вновь появился в этом баре, негр-бармен меня узнал, как будто я там бывал чуть ли не каждый вечер. Он тут же спросил, утвердительно: «Vodka-Martini, straight-up?» и с разгона занялся приготовлением моего любимого коктейля. Дело в том, что не было такого бара в Манхэттена, где готовили бы водку-мартини так же бесподобно, как это удавалось нашему негру из «брежневского» бара. Собственно, это не коктейль. Это, практически, чистая водка. Но водочная горечь снята легким «прикосновением» мартини в напиток. Рецепт крайне прост. Накладываешь в шейкер лед и заливаешь сухим мартини. Встряхиваешь. Мартини выливаешь. И вместо этого заливаешь лед водкой. Встряхиваешь. Выливаешь водку в замороженный бокал (конусообразный) – с оливкой или корочкой лимона – по вкусу. Что, казалось бы, может быть проще? Но если передержать лед в мартини или залить водку поверх льда не вовремя, неправильно встряхивать шейкер или сделать еще чего-нибудь такое катастрофическое, жгучесть и крепость напитка, сшибающего с ног, теряется. Тут все решают неуловимые движения рук, тут дело решают секунды.

Как решали секунды, кто уцелеет, когда самолет террористов врезался в здание и здание стало обрушиваться вместе со станциями метро в подземных переходах и баром под крышей. Я не знаю, был ли там мой

бармен-негр в девять утра, когда все это произошло. В любом случае, такого бара больше не будет. Тот Манхэттен, каким мы его знали до катастрофы, больше не существует. С этим невозможно смириться: с тем, что всего, что было, больше не будет. Невозможно смириться. Пока не осознаешь, что все это ушло вместе с нами – с теми, какими мы когда-то были и какими больше никогда не будем.

Пора научиться смешивать водку-мартини самому.

Философия наблюдаемого

Все американцы – и за ними весь мир – обсуждают, кто где находился в сентябре 2001-го в момент налета на Манхэттен. Разговоры эти не пустое дело еще и потому, что в наше время, в наш век, мы как будто все время находимся в движении, мы перемещаемся с такой частотой, что уже трудно сказать, мы вернулись или, наоборот, накануне отъезда, дома как в гостях или же с домашними у себя за границей. А некоторые, кто географически путешествует не слишком часто, постоянно выходят в эфир, вроде меня. Из Москвы сообщили, что видели по телевизору нашего лондонского соседа профессора Пятигорского. Как и в случае со мной в эфире, неясно, был ли он в этот момент в Москве и выступал живьем или явился пред очами на телеэкране в предварительной записи из Лондона? Профессор Пятигорский – индолог и буддист; это навело меня на соображение о том, что в любом случае обсуждать следует присутствие в нашей жизни не самого профессора, а лишь его инкарнацию, или его виртуальную, так сказать, персону.

Профессор Пятигорский возникает и исчезает из нашей жизни совершенно непредсказуемым образом. В последний раз я видел его несколько месяцев назад, когда он восстанавливал здоровье после мистической сосудисто-сердечной атаки. Для скорейшего восстановления здоровья врачи настоятельно рекомендовали

строжайшую диету и свежий воздух. Когда я вошел в комнату, сеанс соблюдения диеты был в полном разгаре. До такой степени, что я едва смог разглядеть лицо профессора, окруженного обожателями, учениками и домохозяевами: вся комната была окутана плотным облаком сигаретного дыма. Протягиваясь наугад сквозь эту дымовую завесу, рука Пятигорского ловко выхватывала бутылку датской водки (самая дешевая из качественных водок, с подтекстом из принца Датского: пить или не пить?). Эта диетическая водка закусывалась разными, не менее диетическими, продуктами питания: на столе разложен был холодец из йоркширских свиных ножек, сало российское, колбаса польская, килька балтийская. Лечение состояло в систематической ротации рюмки водки, кильки, сигареты.

Обсуждали русское название новой философской работы профессора, где по-английски было слово «observation». Поскольку слово «обсервация» на слух по-русски известно с чем ассоциируется, я предложил два переводных варианта: «Философия наблюдения» или, еще лучше, «Философия наблюдаемого», потому что речь шла именно об объекте наблюдения как мыслительном процессе. Что-то вроде: я наблюдаю, значит, я существую. Как в квантовой механике. Не спрашивайте меня, что при этом имеется в виду. Моя жена Нина Петрова формулирует эту философию по-своему, как всегда афористично: «С глаз долой – из сердца вон». Я задал тут же классический вопрос: а существует ли объект наблюдения, когда мы его не наблюдаем? И второй вопрос: существует ли наблюдающий, если перед ним нет никакого объекта наблюдения? Более того, рассуждаем ли мы с точки зрения наблюдателя или же наблюдаемого? Особенно, когда речь идет о мышлении с точки зрения выпивающего. При полном, конечно же, соблюдении диеты. От количества водки и мелькания закусок мое зрение – с позиций человека с искривлением позвоночника – приближалось к наблюдаемому мной видению

профессора Пятигорского, страдающего врожденным косоглазием.

Разговор все сильнее уклонялся в сторону, а супруга Пятигорского все чаще и дольше исчезала на кухне, чтобы вынести гостям все новые и новые диетические объекты вроде бараньей похлебки. В очередной раз вернувшись к столу, она сказала, что у меня репутация замечательного рассказчика. Она в нее верит, но не может подтвердить, потому что самое замечательное я, наверное, рассказываю именно тогда, когда она исчезает на кухне. Я не стал ее разубеждать, поскольку понял, что есть, наверное, два Зиника: один – гениальный рассказчик, который существует только в сознании жены Пятигорского на кухне, а другой Зиник – за столом, выпивающий под философию наблюдаемого Пятигорского, постепенно превращающегося в Шестигорского, Семигорского, Восьмигорского...

Пока одни люди в нашей жизни постоянно исчезают, другие непрерывно возникают, непонятно откуда и как, вроде присутствия одновременно и везде Дмитрия Алексаныча Пригова. Видимо, Пригов не один, его – много, и он выпрыгивает, как в квантовой механике, там, где его наблюдают. Или же мы движемся по одним и тем же невидимым маршрутам, сами того не осознавая, и это – особая тема: люди одного класса и интересов передвигаются по одним и тем же улицам, городам и странам в одно и то же время. Так или иначе, сойдя с поезда лондонского метро по дороге к профессору Пятигорскому, выхожу на платформу, а передо мной стоит Пригов (мы расстались накануне на вернисаже Александра Бренера, кидавшегося в публику яйцами, но в нас с Приговым он не попал). Откуда, спрашиваю. Он говорит: из дома. Из России? Нет, из Англии. Оказывается, он проживает на той же линии, только я – на севере, а он – на юге. Куда, спрашиваю. Он говорит: в Германию. Там ставят его пьесу-поэму. Про что? «Про то, как два старых приятеля никак не могут разойтись: пытаются

убить друг друга, дубасят, дубасят, но безрезультатно», объяснил Дмитрий Алексаныч. Я поспешил в своем направлении вдоль платформы, выхожу на улицу, и навстречу мне идет – как это вы догадались? – Дмитрий Алексаныч Пригов. Он воспользовался другим выходом, наверное. Мы снова поприветствовали друг друга. Он сообщил мне, что только что вернулся из Германии, где ставили его пьесу про двух приятелей, которые никак не могут разойтись друг с другом.

Эффект Набокова

Присутствие России и ее перемещенных лиц в разных точках мира неизбежно приводит к искажениям – идеологическим или даже топографическим – в традиционном восприятии того или иного места земного шара. Что, скажем, встает перед вашим взором, когда произносятся названия таких классических курортов, как Ялта или Ницца, Женевское озеро или Лазурный берег, такая туристская экзотика, как Стамбул или Марракеш? Пальмы и пляжи, променады и коктейли, рынки и верблюды, шашлыки и вино? Ошибаетесь. Все эти места связаны с русской эмиграцией. На первый взгляд, по променадам этих классических курортных мест прогуливались толпы отдыхающих в соломенных шляпах и нанковых костюмах. Но на самом деле это были конспираторы, заговорщики, разрабатывающие стратегию антибольшевистского переворота в России. При всем при этом они вели курортный образ жизни, как все остальные отдыхающие; но они вели эту жизнь с иным значением, вкладывая в каждый свой шаг, от променада в пансион и от пансиона в ресторан, совершенно иной смысл, чем все остальные, все эти вульгарные толпы урядных курортников. Правда, на этих заговорщиков мало кто обращал внимания, даже сами русские. Впрочем, русские вообще принципиально друг друга не замечают, а заметив, делают вид, что они друг для друга не

существуют. Боятся, что придется подать руку человеку не той, вредной, компании, партии, происхождения. Скажем, воспоминания Набокова о детстве переполнены описаниями семейных выездов на курорт – этой репетиции эмиграции из России, но он практически не упоминает ни одного человеческого существа вне семейного круга, кроме, пожалуй, первой претендентки на роль будущей Лолиты. Набоков сторонился своих соотечественников и они сторонились его. Все устремлялись к курортным местам не на отдых, а потому что там был шанс сесть на пароход и отплыть из России. Или, наоборот, первым сесть на пароход, когда возникнет шанс в Россию вернуться. Курорт – это, короче, доступность дешевых средств перемещения из России и обратно. И так было всегда. Месяц в деревне (или на курорте), одиннадцать месяцев за границей.

Я и вспомнил про эффект смещенности пространства из-за присутствия перемещенных лиц в связи с тем, что побывал в юбилейном году на двух конференциях, посвященных Набокову. В обоих случаях я столкнулся с необычными конструкциями жилого помещения. Я имею в виду прежде всего ванную и туалет. На конференции в американском университете Уэзли меня поселили в шикарном общежитии для аспирантов. Комнаты комфортабельные и просторные, но ты делишь ванную и туалет со своим соседом. То есть, когда тыходишь в ванную, ты запираешь его дверь, ведущую в ту же ванную, на задвижку. Сколько раз я просыпался ночью весь в поту от ужаса, что забыл открыть задвижку и мой сосед не сможет пробиться в уборную. Из-за двери я периодически слышал передачи российского иновещания, где бархатный голос настойчиво убеждал нас, что Набоков вовсе не формалист и словесный манипулятор, каковым его хотят видеть западные литературоведы: Набоков – такой же глубоко религиозный лирический бытописатель русской души, как Толстой и Солженицын. Несмотря на частые манипуляции с задвижкой в уборной, я так

и не понял, кто же он – этот сосед, потому что вставали и уходили мы из своего номера в разное время. Я так и не столкнулся с ним: ни в ванной, ни в коридоре.

Следует ли считать Набокова американским или русским писателем, я тоже не понял. Я вообще считаю, что у писателя каждый орган – своей собственной национальности: сердце, душа и все остальное. Я, например, считаю, что печень у меня шотландская, потому что я предпочитаю виски. С национальным происхождением сердца несколько сложнее, потому что оно поддается, как известно, пересадке.

Все тот же радиоголос России спас меня в запутанной архитектуре физиологических отправлений на набоковской конференции в Кембридже, где учился этот Посейдон всех волн русской эмиграции. В общежитиях английских университетов процветает, как известно, культ Спарты. В душевые и уборные надо спускаться из своей монастырской кельи по четырем лестничным пролетам в подвал. Эти средневековые подвалы как будто перекочевали сюда из готических романов ужасов. Совершив все необходимые отправления и омовения под ледяным душем, я попытался вернуться наверх к себе в комнату. Но для этого надо было совершить несколько поворотов по запутанному лабиринту подвальных коридоров. Через несколько секунд я понял, что запутался. Я дрожал – то ли после ледяного душа, то ли от ужаса: собственно, не орать же благим матом и вопить о помощи в этой колыбели мудрости и цитадели знания, в самом сердце Британской империи? Сердце это было, конечно, не в подвале, а я заплутал в совершенно ином органе, если следовать этой телесной метафоре, но легче от этого не становилось. Меня спас тот же звук. Я имею в виду голос российского иновещания. Он проникал через толстенные стены и подвальные своды. Я пошел на этот звук и через мгновение уже оказался перед выходом из подвала на лестничный пролет. Откуда шел этот радиоголос, мне так и не удалось выяс-

нить: скорее всего, не из университета Уэзли, но радиоприемник принадлежал, не сомневаюсь, все тому же невидимому набоковеду, моему бывшему соседу по американскому общежитию.

Вообще, надо быть постоянно настороже, когда имеешь дело с помещениями, связанными тематически с Россией. На литературном фестивале в Варшаве меня поселили в Доме дружбы Польши и СССР. То есть, от СССР уже ничего не осталось и от фондов на дружбу тоже, и, соответственно, сократилось и число комнат для гостей, да и те с сортиром в коридоре. Но гостиница есть гостиница, и я в коридор выходил в пижаме. Мимо моей двери каждое утро пробегали девушки, одетые элегантно во все черное, и на высоких каблуках. Я подумал: мода, наверное, такая. Страшно куда-то спешили, непонятно куда. Я же не торопясь шел вниз пить кофе, проглядеть газеты. Милое такое кафе с чудесным эспрессо: все-таки варшавяне в кофе разбираются. Владелец кафе явно увлекался Голливудом, потому что на стенах были развешаны плакаты с экстерминаторами и другими робокопами. В углу я заметил странное окошко; я сначала подумал – для грязной посуды, в кухню; но перед окошком почему-то всегда толпился народ. Чего-то продают? Я подошел ближе: продавали билеты. В кино. Я сидел в фойе кинотеатра. Чуть ли не в пижаме. Владельцы этого Дома бывшей советской дружбы сдавали гигантское помещение на первом этаже кинотеатру. А наверху снимал помещение банк: вот откуда взялись спешащие по коридору элегантные девушки в черном и на высоких каблуках. Неделью я прожил в комнате, дефилируя в пижаме между кинотеатром и банком. Следует назвать этот феномен «эффектом Набокова».

Свой язык

Есть люди, целые интеллектуальные круги, более того – целые народы, страны и культуры, в среде которых не знать определенных имен, не помнить наизусть какие-то поэмы, не проштудировать некоторые философские трактаты считается зазорным, позорным, непростибельным недостатком, ущербностью, душевным уродством, умственной неполноценностью. «Мы же все помним, – говорят в подобных компаниях, – что по этому поводу сказал Ортега-и-Гассет», и ты не только должен понимать, что речь идет об одном мыслителе с двойной фамилией, а не о Комаре-и-Меламиде; ты еще должен помнить все его ключевые высказывания. Или же, когда твой собеседник акыном зачинает: «Мой дядя самых честных правил», ты просто обязан знать, какая строчка следующая. Иначе все вокруг будут считать, что ты не в шутку занемог. Возможно, эта слишком рьяная верность и преданность российской интеллигенции к устной, разговорной, коллективной памяти – наследие советских времен, когда американские фильмы, фрейдистские романы или экзистенциальные философы смотрелись и читались единицами, а затем начинали свое самобытное существование в коллективном пересказе. Не знать их – значило обрекать себя на одиночество. Тут возникала своя странная подборка и иерархия имен, которые у всех на уме и на слуху, и отсутствие этой ие-

рархии воспринималось как провал, как бескультурие, духовная пустыня. Вместе с последними волнами эмиграции из России с 70-х годов выявился новый тип русского за границей – от Нью-Йорка до Тель-Авива, бредущего мимо многоэтажных книжных магазинов, выставочных залов, театров и оперных залов с постной физиономией, говорящей: «Нету тут культуры, товарищи!» Начинаешь думать о втором значении слово «культура»: та самая, искусственно разведенная гниль, из которой плодятся микробы. Может, хорошо, когда ее нет?

Для своего курса «Эмиграция как литературный прием» (пару лет назад в американском университете Уэзли штата Коннектикут) я подобрал список книг, где сюжет романа – само пребывание автора-рассказчика в другой стране, за границей. «Заграница» могла восприниматься и крайне условно: от ощущения себя монстром в романе Мэри Шелли «Франкенштейн» до проблемы старения (старик среди молодых) в романе Олдоса Хаксли «После многих лет». Был тут и роман Конрада «Глазами Запада» о русских эмигрантах, и роман Энтони Бёрджесса «Мед для медведей» об англичанине в России. Казалось бы, какая связь между Томом Стоппардом и тем же доктором Франкенштейном? Лишь к середине своего курса до меня дошло, что вся подборка имен связана с одной страной – Швейцарией. Связь мемуаров Кропоткина со швейцарским анархизмом очевидна, но следует вспомнить, скажем, что Бёрджесс поселился в Швейцарии (как и эмигрант Набоков), где происходит действие и романа о франкенштейновском монстре и где спорят о России герои Конрада; а в комедии Тома Стоппарда речь идет о случайной встрече Ленина и Джеймса Джойса в библиотеке Цюриха. Объяснение тут одно: во всех отобранных мной романах речь так или иначе идет о свободе, а политическая свобода в прошлых столетиях всегда была связана со Швейцарией.

Однако это скрытое единство, общий мотив – в данном случае швейцарский – в пестроте разных наречий

менялось с эпохами. Мои студенты, например, не слышали о Солженицыне (я пытался ввести тему Ленина в Цюрихе). Более того, они не слышали и о Гулаге. Гуляш подается в венгерских ресторанах и в Америке. А вот о Гулаге перестали писать ежедневные газеты, и поэтому этот архипелаг исчез из студенческого сознания. Никто этому не удивился. Никто не устыдился. Никого не обвинили в безграмотности. Они пошли в библиотеку за Солженицыным. Открыли компьютер и поинтересовались соответствующим сайтом.

Странное учреждение – библиотека. Торжественная тишина, прерываемая лишь отдаленным шепотом; склоненные, как будто в молитве, головы; библиотекарь, как священник за кафедрой, в углу пустынного зала. Короче, храм. Храм знания. Или все-таки тюрьма? Каждый сидит в одиночку, курить нельзя, у каждого – номерок, железная дисциплина. В одной из знаменитых викторианских библиотек города Манчестера, где Карл Маркс разрабатывал свой марксизм, книги были на цепочках: чтобы достать том, нужно было отомкнуть замок специально выдаваемым ключиком. Храм и тюрьма взаимозаменяемы: и тут и там поклоняются идее перевоспитания духа в отдалении от мирской суеты. В том же смысле музеи, скажем, похожи на больницы. В эпохи духовных кризисов или религиозного скептицизма эти институты взаимозаменяемы, и визит в музей приравнивается в наше время к посещению храма. Совершенно неважно, какие там внутри иконы – главное, это святость самого здания, особенно если оно – занятной архитектуры, вроде музея Гугенхайма в Бильбао. Отсюда же и юродство и богохульство по отношению к храмовым помещениям: например, в греческом дворике музея им. Пушкина курили анашу, а в женской курилке библиотеки им. Ленина ходил по рукам список самых выгодных женихов города Москвы. Да и названия этих учреждений – имени Пушкина или имени Ленина – говорят о вечной тяге нашего сознания к некой духовной иерархии.

Европейская (и вместе с ней русская) идея просвещения – это поиск единого универсального языка, системы, списка имен, как в марксизме, где вся история человечества – это предыстория пролетарской революции. Идея англосаксонская, протестантская, антикатолическая («анти-всемирная») идея – это идея приватного, своего, личного языка, круга идей, имен, быта. Эти приватные миры рьяно охраняются от вторжения общности. Недаром первые университеты были монастырями, отделенными буквально стеной от города. Оксфорд и Кембридж, и по их образу – лучшие американские университеты, до сих пор и функционируют как монастыри: студенты живут в кельях своего колледжа, со своими ритуалами и со своими подвалами с портвейном. У каждого студента свой наставник, tutor. От личности и темперамента наставника зависит и какую, в конце концов, профессию выберет студент. Он следит не только за кругом его чтения, но и за его жизнью. Отсюда такая разноголосица и в границах знаний, и в темпераменте мышления. В этой методе обучения нет общей системы. Специалист по буддизму скорее всего никогда не слышал не только о Солженицыне, но даже о Зиновии Зинике.

Отказ от иерархии, универсальности, общепринятых норм мышления (и поведения, конечно) принимает порой самые крайние формы. Ведь под словами «гуманность», «всемирность», «общечеловечность» скрывается тот факт, что универсальный язык – это язык тех, кто находится у власти и кто, как просвещенная элита, диктует всем остальным, что читать, что смотреть и что слушать, о чем думать. Уильям Бэрроуз придумал свою форму протеста против навязанных нам с детства имен. Он брал трагедию Шекспира, разрезал страницу наугад на куски, а потом эти обрывки перемешивал и склеивал в случайном порядке. Это – протест против механического подчинения стереотипу речи согласно чужой воле, чужого мышления. Сэмюэль Беккет довел эту мысль до

абсурдного логического конца: его герой отказывается говорить, потому что всякое слово было навязано ему кем-то еще, и в первую очередь, его родителями, научившими его говорить, заставлявшими его повторять их звуки, слоги, слова. Собственной, по-настоящему личной речи не существует, потому что все, что понятно еще кому-то, уже не является сугубо личным, твоим.

У каждого из нас есть свой семейный приватный язык и язык публичный, официального общения. Следует признать, что мы рождены двуязычными и, возможно, бисексуальными. Но одни умеют забывать об этом, другие делают вид, что подобного внутреннего противоречия не существует вообще. А третьи постоянно обыгрывают эту двойственность в своем общении. Мне нравится третий путь.

Оригинал в плагиате

Кто бы мог подумать, что университетский городок Мидлтаун в Новой Англии, куда судьба послала меня читать курс лекций под названием «Эмиграция как литературный прием», наполовину заселен сицилийцами. Это сообщил мне местный парикмахер. Сицилиец. Про сицилийцев я знаю, что они придумали мафию и театр Пиранделло, где сцена путается с жизнью в виде большого сумасшедшего дома. Про сицилийцев в Мидлтауне я бы сам не догадался, потому что не различаю итальянского акцента в американском, как американцы не различают русского акцента в моем британском. Все эти сицилийцы – из одной деревни близ Сиракуз под названием Мелили. На одной из больших улиц маленького Мидлтауна стоит гигантская итальянская церковь Св. Себастьяна, настоящий собор. Так вот, мой парикмахер сказал, что это – точная копия церкви Св. Себастьяна в их родной деревне Мелили. В этом нет ничего удивительного: все эмигранты на свете обустроивают себя не только литературно, но и бытовым образом воспроизводя свое Отечество. Тем более, идея повтора заложена в самой легенде об этом христианском мученике: Себастьяна умертвили, казалось бы, градом стрел римских легионеров, его труп бросили на растерзание гиенам, но он выжил и возник перед императором как загробная тень, или как восставший из гроба сам Спаситель – один из

главных плагиаторов самого себя в нашей с вами истории. Иногда этот повторенный образ, подражание или даже подделка, оказывается важнее самого оригинала. Нечто подобное произошло и с церковью св. Себастьяна в Мидлтауне. Ее оригинал, собор в сицилийской деревне, был разрушен землетрясением. Так что те мелилийцы (мелиляне?), что хотят встретить день св. Себастьяна в родной церкви, должны ехать в Америку. Такой пиранделлизм.

Если вы хотите знать, каким развратом занималась в летнем лагере Лолита, надо читать не подлинник ее истории пера В.В. Набокова, а сочинение Пии Пера (не от слово перо, а от итальянского слова «пэра» – груша). Пиа, переводчица на итальянский Пушкина, Кузмина и Протопопа Аввакума, ради шутки написала о том, что в действительности думала Лолита, соблазняя и дразня Гумберта Гумберта. Те же события, но с точки зрения Лолиты. Пиа назвала свое сочинение «Дневник Ло» и всем на удивление тут же оказалась жертвой обвинений в плагиаторстве со стороны Набокова-младшего. Из-за судебных угроз крупное нью-йоркское издательство, купившее «Дневник Ло», отказалось в конце концов от публикации. Но после долгих переговоров с семейством Набоковых, со скандалами и разрывами контрактов, хлопаньем дверьми и кулаками по столу, книга все-таки вышла в маленьком альтернативном издательстве, связанном в прошлом с именами Генри Миллера и Уильяма Бэрроуза. Обо всем об этом вы могли узнать сами из газет. Саму книгу я лично читал несколько предвзято: все-таки интересно узнать о сексуальных фантазиях своей старой подруги. Выясняются очень любопытные подробности. С точки зрения Лолиты, извращенность Гумберта – не в самих его сексуальных склонностях, а в том, что он эти склонности от себя скрывает. Он делает вид, что он – невинный. И вместо того, чтобы заняться постельным делом к обоюдному удовольствию, он таскает Лолиту за собой по всей стране, а главное, по музеям и

достопримечательностям, делая вид, что он ее, ко всему прочему, духовно развивает. В частности, он привозит ее в пещеру, служившую в доисторические времена отхожим местом для мамонтов. Гумберт с педантичностью наставника и гида демонстрирует Лолите сталактиты из первобытного навоза мамонтов, а наша нимфетка в бешенстве от этой экскурсии чертыхается про себя: «Великие животные уходят, остается окаменевшее дерьмо». То же можно сказать о литературных репутациях.

Да и в живописи то же самое. Слоновий навоз, как вы слышали, используется в портрете Девы Марии на скандальной выставке «Сенсация» лондонского коллекционера Саачи. Но вполне возможно, что идея пещеры с окаменевшим навозом мамонтов пришла в голову Пие, поскольку я регулярно информирую ее о своих приключениях со слонами в обществе комаров и меламидов. Комара и Меламида тоже недавно стали обвинять в плагиате: мол, слоны рисовали хоботом с незапамятных времен, а Комар и Меламид устроили из этого концептуальный аттракцион и продали (ради фондов на спасение погибающих от голода слонов Юго-Восточной Азии) все с молотка на аукционе Кристи в Нью-Йорке. Но дело вовсе не в том, чтобы научить слона держать хоботом кисть: Комар и Меламид научили слонов, как с помощью искусства обеспечить себе прожиточный минимум. Дело не в том, что и как они рисуют, а в том, что сам акт рисования произвел революцию в их образе жизни. И тут кончается искусство и дышит почва и судьба. Важно, короче, не что и как, а кто и где. В этом, кстати, отличие в отношении к сексу между Гумбертом и Лолитой.

Выставка слоновьей живописи (а не навоза) стала главным событием на все-Американской конвенции Республиканской партии. Почему? Потому что эмблема американских демократов – ослик. А республиканцев – слоник. Еще в конце XIX века группа французских эксцентриков заставила осла рисовать абстрактную живо-

пись хвостом. Республиканцы, соответственно, должны поощрять слонов рисовать хоботом. В Англии подобную политическую функцию выполнял бы британский лев с его хвостом с помпончиком. Но Комар с Меламидом как-то не решаются кооперироваться со львами, хотя я и убеждаю их, что искусство требует жертв. Ведь был же прецедент подобного совместного творчества, когда в Древнем Риме христианские мученики были выпущены на арену прямо в пасть к голодным львам. Львы не виляли хвостами. Они оставили после себя абстрактное полотно, где вместо краски – кровь. Святой Себастьян Мелилийский это бы искусство оценил по достоинству.

Слоны в Раю

«Из-за своей фамилии», говорит Комар, «я всегда тянулся к животному миру. Либералы мечтают о социализме с человеческим лицом. Я же мечтал об абстрактном экспрессионизме с лицом животного». Таким животным в конечном счете оказался слон. Вслед за Таиландом и Индией, Комар с Меламидом открыли академию искусств для слонов на острове Бали. Надо было бы, наверное, начинать с насекомых, но вот комары (москиты) на Бали, в отличие от Таиланда или России, как-то мало заметны. Или их там всех перебили палками местные жители, чтобы не беспокоили туристов. Туземцев как будто вырастили, чтобы развлекали иностранцев. Вообще весь остров создан иностранцами для развлечения иностранцев: с тех пор как в Средневековье сюда переселилась аристократическая элита с соседнего острова Ява, уклонявшаяся от нашествия Ислама. Даже современная школа живописи тут была создана в 30-е годы немцем по имени Вальтер Шпиц (Walter Spies). Мало того, что в его фамилии можно углядеть что-то собачье. Он еще и родился в России, в семье немецкого дипломата, и уехал отсюда только в возрасте двадцати с лишним лет. Так что у Комара и Меламида – свои российские предшественники со значащей фамилией. У Вальтера Шпица была сложная судьба, может быть, как раз из-за собачьих ассоциаций с его именем. Туземцы острова Бали, как все ин-

дусы, презируют собак – самая унизительная из возможных инкарнаций человеческой души. Поэтому собаки на острове все запаршивленные и похожи на инопланетных мутантов. Вальтер Шпиц кончил плохо: перед войной голландские колониальные власти арестовали его за возвращение несовершеннолетних мальчиков, а потом он попал в руки немцев-нацистов и погиб во время бомбежки вместе с другими заключенными, когда их переправляли на корабле с Бали на Суматру.

Слоны, с которыми развлекались Комар и Меламид (самой восприимчивой оказалась четырехлетняя девочка-слониха Рамона), тоже с Суматры. Слоны тут – тоже иностранцы, беженцы, можно сказать, от пожаров в джунглях других островов Индонезии. Комара и Меламида гонит по миру иной пожар – пожар души. Они уже давно кооперируются с животными в искусстве: «Что такое человек, потерявший родину, религию, семью? Просто-напросто голое животное», говорит Комар. В Иерусалиме они обучали собаку рисовать косточку. Сейчас, может быть, имеет смысл пригласить эту сионистскую псину на Бали для обмена художественным опытом: помочь местным деклассированным собакам. Размеры душевных потерь выражаются, видимо, в размерах животного, с которым наши артисты кооперируются: после многих лет вне России Комар и Меламид обратились к слонам. Но вот обретя в слоновьем стаде духовную родину и восстановив душевное равновесие, они недавно вернулись к более мелким тварям: от обезьяны-фотографа в Москве до термитов в Африке. На очереди – комары Таиланда.

Параллели в личной судьбе и общественной истории вдвойне разительны, потому что в эти годы Индонезия проходит стадию перестройки; цензура отменена, и артистам, включая слонов, можно свободно изображать китайские иероглифы (еще недавно – страшное табу, символ коммунистической угрозы). Абстрактный экспрессионизм слонов Комара и Меламида

тут такое же новшество, как и в Москве 60-х годов. Кроме того, абстрактный экспрессионизм – американское изобретение – всегда считался самым мощным оружием в борьбе против сталинского соцреализма.

До этого под влиянием школы немца-педофила Вальтера Шпица тут рисовали туземные идиллии в духе таможенника Руссо, не так уж далекого в своей философии от его однофамильца Жан-Жака, призывавшего вернуться к природе – прочь от загнивающей западной цивилизации. И вот для этих мечущихся от скуки и отчаяния иностранцев придуман рай на земле, аккуратно вылизанный и приглаженный, для туристов. В отличие от Таиланда, на Бали вообще все пристойно и изящно, порнографии нет, и даже телесный низ индуистских богов в храмах прикрывают тряпками-саронгами – для приличия. На Бали даже природа похожа на картинку в рамке, от этюдов рисовых полей до экзотических цветов, похожих на скульптурные ансамбли. Тут царит украшательство: на подушку в постель каждую ночь кладут цветы лотоса, а небо украшают экзотическими воздушными змеями. Но этот культивированный для иностранцев рай – как будто акварельная картинка на бумаге, он легко прорывается. Шаг в сторону – и ты в аду.

Мы чуть не погибли в рисовых полях. Сверху, из отеля, эти рисовые поля смотрятся как божественные театральные декорации: в воде, где выращивается рассада, отражаются пальмы и бамбук, а крестьяне в соломенных шляпах изящно позируют как будто для туристского фотоаппарата. Но когда мы спустились к полям и стали лавировать по бесконечным земляным насыпям, разделяющим каждую заводь, выяснилось, что мы попали в лабиринт, откуда так просто не выбраться: какая-нибудь тропинка уводит в болотистую чащобу, и оттуда можно выбраться лишь ползком по грязи, утопая по горло в воде, где юлят мириады водяных змей.

Теперь я знаю, что такое рай: это такое состояние, из которого выходишь, сделав любое резкое движение.

При этом движение не обязательно в физическом смысле, душевное движение тоже выводит тебя из райского равновесия, тебя прошибает пот, что-то начинает жечь, щипать и кусаться. Ты начинаешь восприниматься как инородное тело. Малейшая рана, если ее тут же не законопатить какой-нибудь мазью, будет гноиться бесконечно. То же самое, видимо, происходит с человеческими эмоциями: на Востоке долго не забывают обид, и время тут не лечит. Времени просто нет: рай – статичен. А сверху нещадно припекает солнце.

И ты понимаешь, как двусмысленно считать солнце символом жизни. Это – символ жизни только в глазах северных народов, для народов Востока солнце сулит смерть, от солнца скрываются в тени, тень – это жизнь. Видимо поэтому на Востоке потеря собственной тени равнозначна смерти. И чтобы нанести ущерб человеку, надо повредить его тень. Чем отчетливее твоя тень, тем здоровее жизнь. А разная нечисть, она, как известно, тени не отбрасывает.

Нищенские принципы

Говорят, что американские бармены вежливее английских, потому что в американском баре ты оставляешь не меньше пятнадцати процентов чаевых, а в английском пабе – самообслуживание, так сказать: купил дринк и иди, мол, себе, к своему столику. Вполне возможно, в Америке играют роль и деньги. Но сколько ни давай чаевых британцу, он все равно будет сдержан с клиентом, поскольку слишком оживленная болтовня за барной стойкой является нарушением внутренней свободы выпивающего. Однако в связи с грустными событиями в Манхэттене даже американские бармены стали более сдержанны. Я вернулся из Лос-Анджелеса на прошлой неделе и заметил, что бармены там стали напоминать британских. Это опасное явление: однажды сменив манеру обращения на более строгую, трудно будет вернуться к прежней приятной развязности, как трудно понизить цены, однажды их повысив. Никто в Америке, кстати сказать, не знает, что делать с флагами, водруженными на каждом втором здании в городе. Снимать их как-то непатриотично, а от их количества в глазах рябит даже у самых рьяных патриотов. Да и раж уже вроде прошел. Но не исчезло чувство коллективизма перед лицом наступающей катастрофы, новое ощущение свободы, равенства и братства.

Этот демократический энтузиазм приводит к некоторым казусам. Я с утра пил кофе в элегантном заведении

рядом с отелем, где местная интеллигенция прочитывает от корки до корки *New York Review of Books* и лондонский еженедельник *Times Literary Supplement*. И в одно прекрасное утро в этот американский комфорт и пижонство вступил местный бомж, бродяга, обычно околачивающийся на углу. Он был не просто грязен, он был вонючий до такой степени, что перешибал даже острый запах аравийского кофе. Еще недавно его бы тут же вышвырнули на улицу. Но в атмосфере всеобщего равенства и братства все, сжав зубы, уткнули носы в свои газеты и чашки кофе и терпеливо ждали, пока этот бомж не отстоял свою очередь, получил (бесплатно) булочку с кофе и отбыл в направлении ближайшего угла.

Этот эпизод связан, конечно, еще и с тем, что кроме Бен Ладена на Америку и Великобританию надвигается Рождество, время бессмысленных подарков и показных жестов милосердия. Поэтому количество профессионалов (а большинство нищих в Лондоне или профессионалы, или наркоманы), вымогающих у прохожих деньги на улице, растет с такой же скоростью, как и очереди перед распродажами в универмагах. Причем и нищие, и жадные до ширпотребной дешевизны покупатели оказываются в одном положении: ночуют у входа в магазины, чтобы быть первыми на раздаче. Но и в обычные дни у каждого заметного питейного заведения в Лондоне – свой нищий, причем побродяжки, околачивающиеся вокруг бездарных баров, похожи друг на друга своей бездарностью, в то время как стильные и экзотические заведения привлекают профессиональных попрошаек оригинального склада, каждый со своей манерой и методом выколачивания денег из наивных прохожих.

У нас, например, в либерально-фешенебельном Хэмпстеде рядом с пабом «Сэр Ричард Стил» (Стил был другом Джонатана Свифта, тоже ирландца) круглые сутки сидит нищий-эксцентрик с «Улиссом» Джеймса Джойса в руках. То, что он так долго читает эти дублинские мемуары эмигранта-алкоголика, неудивительно: со-

чинение настолько заумное, что за год еле одолеешь одну главу – сам автор считал, что всякую серьезную книгу нужно читать столько, сколько она писалась. Если нищий-профессионал использует в качестве внешнего атрибута книгу, то лучше Джеймса Джойса ничего не придумаешь: каждый прохожий понимает, что на прочтение этой книги, как и на смену места ночлега, требуются время и силы.

Зато в лондонском Сохо рядом со входом в мой питейный клуб The Colony Room сидит (а иногда стоит) присяжный нищий, всегда одетый под очередную знаменитость. Долгие годы он выглядел как Фрэнсис Бэкон, поскольку это было любимое место покойного гения, изображавшего человеческое тело в виде освежеванной туши коровы (или бекона), а в свободное от кисти время постоянно державшего в руке стакан с виски. Сейчас в нищем можно узнать еще одного члена клуба «Колони», Демьяна Хёрста, сильно пьющего концептуалиста-миллионера, морившего туши коров в формалине. Впрочем, иногда трудно сказать, видишь ли ты нищего или самого Хёрста, приблатняющегося под небритого пролетария. Однажды он вышел на улицу из клуба со стаканом в руке. Стоял, раздумывая, куда ему дальше воротить оглобли. Пока он думал, кто-то из прохожих бросил ему в стакан мелочь. Решили, что это – сосуд для подаяния. Такой был большой бокал.

Причем не только вид, но и манера поведения этих профессионалов зависит от географии города и характера района. Стоит заглянуть к бангладешцам в лондонском Ист-Энде или к ортодоксальным евреям на севере Лондона, чтобы убедиться, как меняется тип нищего в зависимости от местных религиозных пристрастий. А в банковском Сити можно увидеть одного жулика, который выпрашивает не просто мелочь, как все остальные, а какую-нибудь небольшую сумму, заведомо не круглую и сбивающую с толка своей конкретностью: скажем, «пятьдесят шесть пенсов, будьте добры». Люди верят,

что конкретная сумма необходима не на пропой, а на какие-то жизненно важные цели.

Но классический припев уличного попрошайки – это неизменное *Change, please!* То есть, «мелочь, пожалуйста!» Однако английское слово «*change*» означает еще и перемены. Так что нищий своеобразным путем призывает общество к переменам. Все, даже натуральные бомжи – прогрессивный элемент в этом мире, они склонны приспосабливаться к новым обстоятельствам, перенимать окружающие обычаи и стиль жизни. И перемены в обществе. Я только что побывал в Санта-Барбаре, курорте для миллионеров под Лос-Анджелесом. Вся страна заклеена американскими флагами, говорят о прошлых и будущих актах терроризма. Или, наоборот, стараются об этом не говорить. На это реагируют и местные бродяги.

Сидя под уличным навесом в ирландском баре под названием «Джеймс Джойс» (я не придумал – это совпадение), посетители наблюдали, как местная уличная сумасшедшая имитирует ситуацию в стране. Первым делом она совершила террористический акт. Она сняла свои рваные кроссовки и выставила их посреди улицы. Тут же завyli сирены, визг тормозов: приехал наряд полиции. Решили, что посреди дороги лежат гранаты. Они убрали кроссовки с проезжей части и положили их на тротуар в виде изящной пирамиды.

Мимо проходил еще один бродяга. Ему не понравилось беспорядочное расположение кроссовок на тротуаре, и он поставил их в рядок, носок к носку. Чтобы порядок был в городе. Владелица кроссовок, инициатор всех этих событий, наблюдала за происходящим, делая вид, что читает. Нет, не Джеймса Джойса. Дело ведь происходило в районе Голливуда. Читала она толстенный бестселлер Джекки Коллинз «Голливудские жены». Когда полицейские уехали, она поднялась и положила книгу посреди улицы. Плохая, наверное, книга. Не понравилась. Через минуту бестселлер свезли на

помойку мусорщики. Туда ему, мол, и дорога. Сидя напротив бара «Джеймс Джойс», надо, наверное, читать все-таки заумного «Улисса». Может быть, муниципалитет Санта-Барбары организует ей благотворительную путевку в Ирландию или к нам, рядом с «Сэром Ричардом Стилом», под Рождество – для изучения этого сложного автора.

География зависти

На конференции «Холодная война, горячая культура» (про постсоветскую Россию) в азартном Лас-Вегасе меня записали как участника дискуссии с хитроумным названием «География зависти». Имелась в виду, как я понял, старая идея о том, что «хорошо там, где нас нет». Однако эта очевидная, казалось бы, русская пословица – сама по себе источник метафизических дилемм: существует ли «там» как таковое, или же только в нашем воображении? и в каком таком смысле «нас нет»? Можно ли сказать что-либо плохое или хорошее о месте, где никогда не бывал? Можно ли утверждать, что ты побывал где-то, если об этом месте ты ничего не можешь сказать, поскольку ничего не видел?

Мы с женой продвигались в направлении Лас-Вегаса довольно запутанным маршрутом, останавливаясь в разных местах Южной Калифорнии. Скажем, ланч у нас был на берегу океана, в прибрежном местечке с лечебно-курортным названием Карлсберг. (Каждый поселенец в Америке вез с собой чемоданный вариант своей родины – эта чемоданная ностальгия по родным названиям и распакована на карте Соединенных Штатов.) Столик стоял у самого прибоя. Периодически на камни рядом с нашим столиком садилась чайка. Она издевательски хохотала жутким театральным хохотом. При этом еще требовала, чтобы за этот хохот ей кидали кус-

ки мяса с рыбой. Может быть, так вообще кричат чайки некой особой калифорнийской породы? Не знаю. Я заметил, что лапа у чайки была окольцована. Но, может быть, все чайки в этой местности окольцованы? И все как одна хохочут безумно, как мхатовские актрисы? Неопытный глаз неспособен различить двух разных чаек. А может, это была не чайка, а альбатрос? Или гагара? Имело ли это значение? В голове у меня крутились чайки, Чехов, Карлсберг, Баден-Баден, Достоевский в Лас-Вегасе.

Из американского Карлсберга надо было двигаться дальше на Восток, в направлении пустынной долины реки Колорадо. Предстояло в темноте пересечь высокие скалистые горы с крайне опасной петляющей узкой шоссейкой. Мы не решились и отправились окружным путем через долину. Я надеялся, что у нас до захода солнца еще будет шанс увидеть по дороге легендарный заповедник Анза-Берега. Среди космического лунного ландшафта возвышаются странные кактусы, похожие на летательные аппараты. Кроме того, там растет экзотическое дерево с животным названием «слоновье» и любопытная инфузория под названием «рыба-щенок»: она выживает и в вечную мерзлоту, и в кипящей воде, вроде эмигранта со стажем. (Кактус, впрочем, тоже дает хороший урок выживания в духовной пустыне эмиграции: надо быть покрытым целым слоем мелких колючек, чтобы впитывать в себя из атмосферы мельчайшие капли жизни.)

Кроме всего прочего, место это легендарно еще и своими ежегодными конкурсами на самое изобретательное вранье. Началось все с истории одного авантюриста, некоего Томаса Смита, проезжавшего мимо Анза-Берега на пути в Лос-Анджелес в 1820-каком-то году. По дороге он прихватил пару камней, которые, как выяснилось, были чистым золотом. Или он всех убедил, что это было чистое золото. Так началась золотая лихорадка в долине реки Колорадо. Много золота не нашли, но легенда оста-

лась. И конкурсы на самого изобретательного вруна с историями о поисках несуществующего золота.

Мы не увидели не только золота, мы не увидели ни дерева, ни слона, ни инфузории. Мы не увидели ничего. Потому что вокруг стояла тьма. Не попадалось даже ни одной машины. Лишь наши фары высвечивали иногда кусок скалы на повороте, но поскольку дорога шла, в основном, через пустыню, поворотов, собственно, и не было – шоссейка шла по линейке. Американские машины движутся бесшумно, так что по ощущению неясно было, мы едем или летим в темноте. В какой-то момент нам показалось, что мы взяли неправильное направление на очередной развилке, и поэтому вообще двигаемся непонятно куда. Спросить было некого. Картой мы пользовались туристской, крайне условной, и поэтому то, что казалось расстоянием в два часа езды, стало растягиваться на три, потом и на четыре часа. И конца этому не было видно. Лишь темнота, казалось, становилась все гуще, все беспросветнее. Когда, совершенно измотанные, изнервничавшиеся, напуганные этой тьмой и беспредельностью, мы увидели, наконец, огни городского ландшафта, нам показалось, что мы вернулись на родину, домой.

Наутро, проследив наш маршрут по подробной карте региона, я понял, что мы действительно проехали через все заповедные экзотические места. Можно ли утверждать, что мы были в этом легендарном заповеднике Анза-Берега? Согласно принципу неопределенности Гейзенберга в физике, предмет существует только тогда, когда мы на него смотрим. Поскольку мы не видели в темноте абсолютно ничего, кроме высвеченного фарами куска шоссе, значит, этой местности для нас не существовало. Мы находились в той же географической точке земного шара, но пребывали ли мы в этом месте? «Быть и не быть» – не в этом ли ответ на Гамлетовское недоумение? Ответ на этот вопрос зависит от понимания слова «быть».

Этот вопрос следует задать любому эмигранту. От интерпретации ответа на этот вопрос зависит разница в отношении к пребыванию вне родины, зависит разница в статусе между туристом и эмигрантом, разница между долгосрочным отсутствием и добровольным изгнанием, как и разные традиции восприятия Америки и вообще заграницы в русской литературе. Свидригайлов, перед тем как пустить себе пулю в лоб, попросил еврея-будочника с алебардой передать всем, что, мол, «в Америку уехал». То есть, Америка, она – тот свет. Однако не для всех: младший из братьев Карамазовых собирался туда за новой жизнью, но он решил посвятить всего себя родине. В целом же, все, кто прибыл в Лас-Вегас из России, подчеркивали европейский характер русской литературы и тот факт, что половина русских классиков, от Карамзина до Чехова, полжизни проводили за границей. Гоголь не вылезал из Рима, Достоевский из Баден-Бадена или Калсберга. Как и многие присутствующие на конференции литераторы и искусствоведы. Как будто «железного занавеса» никогда не существовало. Все они рассуждали об особенностях парижской жизни в сравнении с нью-йоркской, как будто обговаривали достоинства дачной местности в Кратово в сравнении с Сестрорецком.

Во всех этих фривольных рассуждениях о вечном русском странствовании среди зарубежных литератур и вернисажей сквозила одна подпольная идея: все те, кто, как полоумные, четверть века назад бросали своих родных и близких и с пишущей машинкой в руках продирались сквозь щель пресловутого «железного занавеса» ради призрачной свободы, в наши дни сравнивались по очкам со всеми теми, кто героически не сдвигался с места за семью железными замками и отпечатывал свои подпольные мысли в четырех экземплярах на аналогичной пишущей машинке. Но мы-то знаем, что разница есть: и для тех, кто уходил, и для тех, кто оставался. Потому что жизнь человека не судится ни по паспорту, ни по очкам, ни по носу, ни по словам и может быть даже не

по шагам. Мы все – разные чайки, некоторые из нас – альбатросы, даже если и кажется, что все мы – одинаково окольцованы. И гагары тоже плачут, ностальгически, вроде Гагарина в космосе. Или хохочут как сумасшедшие мхатовские актрисы.

Только доказать – показать на пальцах – это невозможно, сколько ни записывай, ни объясняй, ни приводи свидетельств. Это некий акт пересечения невидимой местности в крошечной тьме. Я в свое время изучал геометрическую топологию. Есть на свете такая односторонняя поверхность – лента Мёбиуса: путешествуя по этой ленте, можно вернуться туда, откуда начал свой путь, побывав по обе стороны поверхности, не пересекая при этом границы. В этом наличии границы, грани, предела – для одних и отсутствии подобной колючей проволоки для других – вся разница. И преодоление этих границ, пределов и граней происходит вовсе не обязательно географически.

Ты покинул пункт А человеком, который хорошо всем знаком. Прибыв в пункт назначения Б, ты, собственно, ничем не отличаешься от всех остальных, попавших сюда иными путями, например на «Конкорде» или по ленте Мёбиуса. Но лишь тебе известен страх и отчаяние тех долгих часов, когда ты передвигался по невидимому маршруту своей жизни на четырех колесах или на своих двоих, и мир вокруг тебя существовал лишь у тебя в голове, вроде заповедника в пустынной долине реки Колорадо. (Собственно, каждые полтора столетия эта долина затоплялась и становилась дном, так что, формально говоря, трудно сказать, где мы находились, на дне или в долине.) И это путешествие в сфере недосказанного (или невысказываемого) меняет человека, но незаметным для неопытного глаза образом, как всякая прогулка под пальмами. В некоторых обстоятельствах даже греческая трагедия может восприниматься как семейный эмигрантский курьез. Все зависит от того, кто, когда и где эту трагедийность обсуждает.

«Какое объявление в эмигрантской газете мог бы дать Эдип?» спросил, обращаясь в зал во время дискуссии о географии зависти, Вагрич Бахчанян, много лет оформлявший обложки эмигрантских изданий. И сам отвел за царя Эдипа: «Изменяю Родине с матерью».

Звук и родина

Нас убеждают, что климат зависит от дырки в небе, от таяния ледников Северного полюса и тому подобных глобальных катастроф. Если и зависит температура от какой-нибудь дырки, то искать ее следует, конечно же, не в небе, а где-нибудь поближе и пониже, например у нас в голове. Или в сердце. Там, короче, где эта дыра приводит к фатальным переменам в жизни – например, к смерти, духовной или еще какой. Человек совершает судьбоносный или опрометчивый поступок, и потом, много лет спустя, прокручивает в голове свою жизнь по меридианам и параллелям, перевозбуждается – то его вдруг в жар бросает, то он леденеет. Вокруг него начинает соответственно меняться погода. Во всяком случае, иллюзия синхронности этих двух процессов – ментального и метеорологического – была явно налицо. За четыре месяца своего пребывания в Америке я повторил метеорологически всю свою эмиграцию от России до Израиля. Когда я прибыл в Америку в январе, за окном лежали гигантские сугробы и мела российская метель. Сейчас воздух горяч и влажен, как тель-авивская парилка (я в Израиле провел свой первый год вне России перед переселением в Англию). Я понял, насколько лично я участвую в глобальных метеорологических метаморфозах. Готов нести личную ответственность за ураганы и землетрясения. Моя личная история – не более чем

перемены климата за окном, как в романтических историях XIX века: как только у героя мрачные мысли, сразу небо покрывается грозowymi тучами.

Может быть, Англия успокаивающе действует на эмигрантскую душу именно тем, что смена времен года там крайне неопределенна: как сказал художник Тернер, в Англии в любое мгновение – четыре времени года сразу. Но в Новой Англии (г. Мидлтаун, штат Коннектикут), выходя из дома в мороз и пургу, укутав лицо шарфом, как странно было снова, по-русски, ощущать на губах колючую шерсть, увлажненную, как лобок, твоими губами и дыханием на морозе. Внутри домов палили батареи. Тут, как и в России, во многих жилых блоках – центральное отопление, и запалив батареи в ноябре, их уже не выключают до конца апреля, если не мая. Я вдруг поймал себя на детской российской привычке высовывать ногу из-под одеяла: чтобы не было так жарко. Только вокруг моей постели была не настоящая Россия, а вспомнившаяся, приснившаяся, потусторонняя. Или ты сам как будто на другом свете, и видишь реальную Россию в потустороннем свете, точнее – звуке, из Америки. Той самой Америки, куда направлялся Свидригайлов, когда приставлял к виску револьвер: «Так и передай: в Америку уехал». И эмигрировал в другую зиму – через дыру в виске.

Мы, отбывшие в эмиграцию в 70-е годы, оказались в роли, похожей на ту, что играли белые эмигранты, отбывшие из России после Октябрьской революции. Но называть нас следует «красными» эмигрантами, поскольку мы уехали из советской «красной» России, которой уже не существует. Так в Америке ощущают себя «краснокожие» индейцы: страна, которую они считали своей родиной, существует территориально, но только это уже не их родина. Она существует в каком-то ином виде. Например, в звуке. Профессор Люсиер, звукоинсталлятор, на днях дал мне послушать пластинку, недавно выпущенную в Китае: это сталинские песни, которые

исполняет китайский хор, безупречно подражающий Краснознаменному ансамблю песни и пляски. Ностальгический эффект абсолютно тот же, хотя поют они на китайском. Звук, звучание, оказывается, важнее языка. Одно время я носился с идеей выпускать аудиоверсию родного края: коллекцию звуков, создающих иллюзию возвращения на родину.

В эту новоанглийскую зиму я как будто просыпался в московской квартире именно благодаря звукам за окном: грохотали и лязгали снегоочистители под аккомпанемент лопат дворников – такого я не слышал уже четверть века. Во всех барах этого маленького городка в Новой Англии – гигантские телевизионные экраны. И если нет музыки, звучит телевизор. Страшно знакомо, как мне тут же показалось. И недаром. Всю зиму по телевизору показывали хоккей. Это снова были звуки российского детства: чирканье коньков по льду и стук шайбы о хоккейную клюшку. Когда не было хоккея, в телевизионный настенный экран впрыгивали баскетболистки. Прямо как будто из советского школьного спортзала. Нигде так много не показывают баскетбола, как в штате Коннектикут: а дело в том, что женская сборная Коннектикута – чемпион Соединенных Штатов. А кто у них главная в команде? Светлана Амбросимова из России!

Иррациональный секс

От звука остается эхо. Звук продолжает звенеть в ушах. От звука разрываются барабанные перепонки. Что в таком случае остается от образа? Вспышка света – и на мгновение в глазах становится темно. Солнце палит – кожа обгорает. Взрывается атомная бомба – и от человека остается лишь тень, как от фотовспышки, контур его тела на выжженном куске земли. Но как физически запечатлевается в нас все то, что мы наблюдаем пристально и подолгу? В какой степени, скажем, профессия сказывается на внешности? Я затрудняюсь сказать, действительно ли лицо сапожника похоже на сапог, а лицо столяра на рубанок. Что происходит с лицом человека, вроде заключенного, день за днем вперяющегося в стену? Или плюющего сутки напролет в потолок? Любопытно проследить, на что становятся похожими с годами лица гинекологов.

Но на нашей внешности явно сказывается не только то, на что мы постоянно глядим. Мы еще меняемся и в зависимости от того, что мы всеми силами пытаемся проигнорировать. Я точно знаю, например, что лицо педагога постепенно лишается и признаков пола и даже признаков мысли. Он все время должен сдерживаться, отводить взгляд и сжимать челюсти в паузах, ни единым мускулом лица не выдавать своих чувств. Чтобы не оскорбить ни одного из своих учеников личными предпо-

чтениями, не выглядеть предвзятым или сексуально озабоченным. Надо постоянно отводить взгляд. Неудивительно, что лицо преподавателя с годами деревенеет.

Еще труднее не выдавать своих чувств актеру порнофильмов. Я разговорился с одним из них – он уже на пенсии и плотничает, строит стенные шкафы в нью-йоркском лофте у Славы Цукермана. Слава – автор культового фильма «Жидкое небо» – про космических пришельцев, которые вытягивают из черепной коробки землян некое вещество, типа кокаина, выделяющееся у людей во время оргазма. Отсюда у Славы разные интересные связи в мире бывших порнографов. Так вот, этот порноактер влюбился однажды в свою напарницу. У той, как обычно, сутенер. Он ее менеджер, импрессарио и, так сказать, муж в законе: если узнает, что она ему с кем-нибудь изменяет, – убьет. Изменять в порнобизнесе – значит заниматься любовью вне съемочной площадки. Так что влюбленным ничего не оставалось, как любить друг друга во время съемок порнофильма, прямо под объективом камеры. Это, как объяснил мне мой собеседник, требует особого искусства – ты лишь взглядом показываешь, что не имитируешь оргазм, что кончаешь взаправду, но при этом ты должен притворяться, что разыгрываешь все эти эмоции. Это пример скрытой истины в фальшивой голизне.

Первая же инструкция, полученная мной от главы кафедры моего американского университета, недвусмысленно предупреждала меня, «ни под каким условием не вступать в физический контакт и не заводить двусмысленных разговоров ни с одним из студентов любого пола»; дальше шло уточнение, что таковых (полов) насчитывается официально шесть. Весь последующий месяц я, выдерживая провокационно-сексуальные взгляды (специально заготовленные студентами для профессоров) девиц и юношей, пытался разгадать, откуда взялись эти шесть категорий. Наконец, после долгих бессонных ночей я пришел к выводу, что шесть секс-раз-

новидностей состоят из гомо-, би- и транссексуалов, плюс трансвеститы и гермафродиты – всего пять. Шестые по счету – это, конечно же, гетеросексуально-настроенные, но и они в наше время в меньшинстве, как это было в 30-е годы в Кембридже: в ту эпоху если ты не был гомосексуалистом, католиком или неевреем, ты, по крайней мере, должен был стать коммунистом. Такие метания – между секс-меньшевизмом и идеологическим большевизмом.

Каждый из моих студентов был по-своему эротичен, самых невероятных этнических заквасок – от германских кровей до южноазиатских, но все при этом американцы, и кто к какому из шести полов принадлежал, сказать было невозможно. Были и две девицы родом из России, что навело меня на мысль, что в русском языке сексуальные различия крайне иерархичны, потому что несут в себе понятия верха и низа в буквальном вербальном смысле. Слова «половой признак», «пол» заставляют тут же задуматься о ногах, топающих по доскам пола. Пол в России противопоставляется потолку. Когда я высказал эти соображения жителю Коннектикута, русскому писателю Юзу Алешковскому, он сказал, что, мол, так и есть, люди его поколения для случайных половых связей использовали подвал, вроде котельной. В то время как я, поколением младше, в своих подростковых похождениях припоминаю, скорее, чердак.

Но у моих студентов подобное иерархическое деление на верх и низ не прошло бы. Кто из них есть кто, на вид сказать совершенно невозможно. Лишь когда я стал получать от некоторых из них довольно откровенные письма-исповеди под видом курсовых эссе, я понял, что в каждом из нас скрывается совсем иной пол, чем кажется на первый взгляд. Что, собственно, подтвердило мою старую теорию о том, что в каждом мужчине скрывается женщина, а в каждой женщине – мужчина. Именно в этого мужчину в женщине и влюбляется женщина – та, что внутри мужчины. Впрочем, не всегда. Иногда в жен-

щине скрывается женщина, которая влюбляется в того мужчину, который скрывается в другой женщине. То же и с мужчинами. Иногда подобное гомосексуальное или лесбийское влечение может проявиться лишь на втором уровне, когда в том мужчине, что внутри первой женщины, откроется женщина, влюбленная в ту женщину, которая внутри второй женщины. На каком-то этапе, скажем, на третьей или четвертой ступени подобного углубления в эту русскую секс-матрешку (а такая «матрешка» сидит в каждом из нас), могут объявиться и транссексуалы и, чем черт не шутит, гермафродиты.

Для прояснения этих запутанных последовательностей отношений в этих самых секс-матрешках я предлагаю выстраивать параллельную последовательность чисел, или бесконечную дробь. Обозначим шесть сексуальных склонностей цифрами от 1 до 6. Если мужчина влюбляется в женщину, то их связь, на первом секс-плане гетеросексуальная, соответствует цифре 1. Их отношения задаются изначальной дробью $0,1$. Если при этом внутри мужчины скрывается женщина, влюбленная в ту женщину, что скрывается внутри его любимой женщины, то их связь на втором секс-плане «матрешки» уже гомосексуальна по своему характеру, и поэтому обозначается цифрой 2. Их отношения уже вырастают в дробь $0,12$. Если на каком-то этапе в этой «матрешке» отношений вылезет наружу внутренний бисексуал (цифра 3), транссексуал (цифра 4) или, скажем, гермафродит (цифра 6), то в символической дроби этой влюбленной пары появятся соответственно цифры 3, 4 или 6. Но иногда эта «дробь отношений» может, так сказать, закоротиться: мужчина внутри женщины влюбляется в женщину внутри мужчины, внутри которой есть мужчина, который влюбляется в женщину, сидящую в том мужчине, что сидит в женщине, и т.д. Довольно унылая получится дробь их гетеросексуальной любовной связи: $0,11111111\dots$ Но в некоторых редких случаях начинается полная непредсказуемость, где в «матрешках» сексуаль-

ной организации души перемежаются невероятным образом, один в другом, бисексуал с лесбиянкой, а в той – гермафродит, а в нем – транссексуал, возвращающийся к гетеросексуальной связи, и т.д. Дробь такого рода, типа $0,1122345216431426245613442\dots$ с непредсказуемой последовательностью чисел и называется вроде бы иррациональным числом. Это иррациональное число подразумевает бесконечный внутренний поиск друг друга.

Таким образом я вроде бы доказал, что вечная любовь – иррациональна.

Лас Москвас

Какая, казалось бы, рациональная связь между русской эмиграцией, закатом коммунизма и – казино? Достоевский и рулетка? Да, конечно, но речь идет не просто о казино, а о Лас-Вегасе. А Лас-Вегас – это целый город посреди пустыни Невада, в часе лету от Лос-Анджелеса. В Лас-Вегас я попал как гость конференции «Холодная война, горячая культура» при университете штата Невада. На горизонте – розовые горы, вокруг – выжженная земля с колючками, и из этой плоской пустоты вырастают, как мираж, Эйфелева башня и нью-йоркский небоскреб, венецианский палаццо и пирамида Хеопса. Зрение не обманывает. Если зайти в отель-казино «Нью-Йорк, Нью-Йорк», то внутри можно найти и Бруклинский мост в натуральную величину, и чистильщика обуви посреди Бродвея. Перед отелем, носящим имя голливудского гиганта «Метро-Голдвин-Майер», стоит золотой лев размером с многоэтажный дом, а внутри есть лев живой – он бродит среди джунглей и подходит так близко, что вот-вот тебя обнюхает: он в стеклянной клетке, выстроенной посреди холла отеля так, что непонятно, где стекло, отделяющее джунгли со зверями внутри и публику снаружи. На территории отеля «Остров Сокровищ» каждый час ты становишься свидетелем извержения вулкана с огнем и лавой, а с балкона отеля «Беладжио» каждые полчаса можно наблюдать, как спокойные воды итальянско-

го озера Комо (в натуральную, опять же, величину) вдруг взрываются балетными арабесками из струй фонтана высотой этажей в двадцать под «Болеро» Равеля. Но совершенно ошарашивает отель «Венеция»: Большой канал, а по нему плавают гондолы, а в них распеваящие гондольеры развозят туристов мимо лифтов в номера. Вокруг шикарные магазины среди доподлинного воспроизведения в деталях площади св. Марка. Недавно муниципалитет Венеции подал в суд на муниципалитет Лас-Вегаса: туризм из Америки в этот город на воде снизился чуть ли не вполтину после появления в пустыне Лас-Вегасе отеля-казино «Венеция». Чего, действительно, ехать черт знает куда, когда под боком есть своя родная американская версия этой экзотики.

В действительности все это разбазаривание воды в пустыне, тропические джунгли, вулканы и эскалаторы, уходящие в небеса, возникли тут, конечно же, благодаря некому подобию Братской ГЭС – плотине Гувера, тоже размером в город, перекрывшей реку Колорадо трехсотметровой дамбой. Если плотина Гувера у нас вызывает в памяти Братскую ГЭС, то идея, размах и китч всего этого комплекса вокруг одной главной улицы шириной в аэродром подсказывает бывшему советскому человеку сравнение с Выставкой достижений народного хозяйства в лучшие сталинские годы. Но только вместо павильона, скажем, Узбекистана или животноводства тут воспроизведен миф о Нью-Йорке, Париже, Венеции.

Бродя между миражами Венеции среди пустыни Невада, я заметил магазин с портретом Льва Толстого. Магазин этот специализируется на русском китче, антиквариате, иконах, матрешках и палехе, и называется он без особых изысков: «Толстой». В английской транскрипции этого имени слог «той» прочитывается как слово «игрушка», и старая набоковская шутка в «Лолите» – это переименование фамилии Толстого в Dollstoy, то есть, в обратном переводе, детская игрушка. Из-за этих каламбуров и аллюзий на Посейдона всех волн эмиграции из

России, Набокова, я и догадался, как же связываются мотивы конференции с Лас-Вегасом.

Среди отелей Лас-Вегаса нет ни одного, воспроизводящего Москву с Кремлем, спутником и самоваром, как следовало бы ожидать. Но подобная мифологическая столица выстраивается годами в голове у каждого из нас – целые города, составленные из разрозненных воспоминаний. Лавочка у палисадника, где распивал на троих, школьный сортир, где впервые закурил, помойка, где убил с приятелями кошку, Красная площадь со спутником в небе и самовар в окне у соседки с первого этажа, и не Гагарин ли в спутнике отражается в луже мочи у гаражей на заднем дворе? У каждого в голове – свой родной город, и Москва эмигрантская – оставленная за «железным занавесом», отличается от Москвы тех, кто пережил «перестройку», у кого страна ушла из-под ног и он больше не узнает своего родного города, как будто сам эмигрировал, не выходя из квартиры. На «реальную» Москву (если она вообще существует) эти города в голове похожи так же, как Венеция из стихотворения Александра Кушнера (зачитанного автором на конференции) похожа на Венецию из отеля-казино «Венеция» в Лас-Вегасе. Все мы, короче, выстраиваем Москву нашего прошлого, Лас-Вегас нашей жизни у нас в голове. Эти города в уме следует называть, наверное, Лас-Москвас. Любопытно было бы сравнить их архитектуру, население, продукты питания, азартные игры.

Невидимая граница

С концепцией «невидимой границы» меня познакомил Макс, большой приятель Алвина фон Ау. Алвин фон Ау был моим любимым слушателем, когда я организовал цикл вечеров «Эмиграция как артистический прием» в университете Уэсли, в Коннектикуте. Алвин несколько раз приглашал меня выпить и поболтать на философские темы в свой загородный дом с розами, лужайками и озером в деревне XVIII века, где, по-моему, даже комары распевают наизусть Декларацию независимости Соединенных Штатов Америки. Самый независимый из собеседников в доме Алвина фон Ау, кроме его молодой подруги Малики, – это юный Макс. То есть, Алвин – с его беспокойным, острым умом и юным взором – душой не старше Макса, хотя сердцем гораздо мудрее. Алвину как-никак 82 года, и он не может состязаться с Максом в подвижности. А Макс постоянно в движении, все время перемещается из одной комнаты просторного дома в другую, потом на веранду и оттуда на лужайку, из сада обратно в дом, и при этом все время пытается вас чем-то развлечь, отвлечь на что-то постороннее, второстепенное, крайне мешая моим любопытным разговорам с Алвином. Там, где у Алвина – быстрота ума, у Макса – чистое легкомыслие. Я верю в силу слова и перевоспитание чувств. Во время наших встреч я всякий раз пытался привлечь Макса к разговору. Например, перед моим возвращением обратно в Англию у нас с Алвином был слож-

ный и интригующий разговор об антиномиях патриотизма и космополитизма, свободы и анархии, долга и наслаждения, жизни и искусства, варварства и цивилизации, тела и души. Я пытался выяснить, что по этому поводу думает Макс, но он, не дослушав моих вопросов, заметил что-то за окном и бросился наружу через комнату в сад. А может, и обиделся? По дороге он толкнул столик, на котором стоял гипсовый бюст Меркурия. Бюст разлетелся на куски.

Для Алвина этот бюст – довольно ценная реликвия. Дело в том, что Алвин фон Ау практически всю свою сознательную жизнь проработал для корпорации Белл, впоследствии Американской Телеграфной и Телефонной компании. Он занимал должность «вице-президента-ассистента при главе Совета директоров», и отвечал за всю «литературу» корпорации, то есть за доклады, отчеты, брошюры, публичные выступления – все то, что создавало идеологическое лицо самой крупной телефонной монополии в Америке на протяжении чуть ли не всего XX столетия. Алвин фон Ау был полномочным посланником этой корпорации, охватившей своими телефонными проводами весь мир. Неудивительно, что эмблемой корпорации стал вестник Олимпа, Меркурий. Его бюст венчал крышу здания штаб-квартиры корпорации на Бродвее, пока этот супергигант не расформировали в 1982 году по инициативе Министерства юстиции в связи с законами о монополиях. Бюст Меркурия свезли на склад где-то в Джерси-Сити, откуда его и извлек Алвин, сделал для себя гипсовую модель кабинетных размеров и, выйдя на пенсию, перенес этот бюст себе в дом как сувенир ушедшей эпохи.

Про Меркурия (так римляне называли греческого бога Гермеса) я с детства запомнил историю о краже священных коров у бога Аполлона. Сейчас, заглянув в справочник по мифам Древней Греции, я узнал, что затем Меркурий придумал новый музыкальный инструмент из панциря черепахи, где вместо струн были натянуты

кишки тех самых украденных коров. Звук был настолько чудесный, что Аполлон ему все простил и привел на Олимп, где Зевс сделал его посланником богов и подарил сандалии с крылышками. Эти сандалии – как личный самолет, и этим сандалётам моя эмигрантская душа очень завидовала. Ну и еще я, конечно, завидовал способности Гермеса (Меркурия) извлекать музыку черт знает из чего, вроде коровьих кишок.

Масса подробностей биографии Меркурия совершенно выветрилась, естественно, у меня из головы. Хотя, нужно сказать, советские люди моего поколения довольно серьезно штудировали мифы о богах и героях Древней Греции. Дело в том, что древнегреческими мифами, оказывается, серьезно увлекался Сталин. Мы никогда не слышали, скажем, о Моисеевом законе или о распятом человеке, но Прометей был, как-никак, героем всех русских революционеров, и остальные греческие боги были допущены в школьную хрестоматию заодно с Прометеем. Так что нам с детства вбивали в голову идею многобожия – плюрализма, можно сказать, пока за окном пышным цветом цвел тоталитаризм.

Мне, конечно, могут возразить, что концепция Олимпа с Зевсом во главе ничем не отличается, в сущности, от идеи Политбюро со Сталиным. Или же от идеи любой мощной корпорации с Советом директоров. Да и идея телефонного аппарата не слишком далека, в конечном счете, от панциря черепахи с натянутыми коровьими кишками длиной в миллион километров, размноженного в миллиардах экземпляров по всему миру. Возвращаясь, кстати, к корпоративным обязанностям Меркурия, я выискал в его биографии еще один факт: когда Зевс сделал его вестником Олимпа (директором Олимпийской телефонной корпорации, так сказать), он взял с Меркурия обещание никогда больше не врать. Меркурий согласился, но при этом удержал за собой право умалчивать правду. Есть, однако, великая правда в недосказанности, я знаю это как опытный радиовещатель.

Я пытался доискаться через Алвина до какой-то тайны про общую идею гигантской корпорации, с людьми в полосатых костюмах, с сигарами в зубах, за длинными дубовыми столами, где идут совещания за закрытыми дверями, с трепетом подчиненных, инфарктами на бирже в другом конце земного шара; эти тайны великих организаций вызывают у передовой общественности такое же болезненное любопытство, что и в свое время тайны Кремля за «железным занавесом». Это – тайны абсолютной единоличной власти. Недаром все на свете свободомыслящие демагоги сравнивали американские корпорации и советский режим. Меня этот вопрос заинтриговал в связи с тем, что этой весной мои студенты принимали участие в вашингтонских массовых маршах протеста против глобализации, эксплуатации стран Третьего мира и вообще против всяких вульгарных Макдональдсов. Одной из моих студенток даже выбили половину зубов в ходе столкновения с полицией, когда она пыталась переступить невидимую границу, охраняемую корпоративным бизнесом.

«Где вы найдете заведение, более демократичное, чем Макдональдс? Возможна ли универсальность без подавления чьей-то индивидуальности?» ответил вопросом на мой вопрос Алвин фон Ау. «Чистых денег не бывает. Весь вопрос в том, что человечество предпочитает: просвещенный абсолютизм или закон джунглей примитивного анархического капитализма?»

Голос его всегда звучит устало и иронически. Он пережил эпоху и сталинизма, и маккартизма. Он много чего пережил. Он знаток изысканных ресторанов, возил меня по всем окрестностям и веселым барам и не отставал от меня в пристрастной любви и преданности к крепчайшему из напитков – водке-мартини. Он лихо водит машину. Однажды, выйдя из гостей, он, не слишком задумываясь о том, куда развернуться, на полной скорости въехал в озеро перед домом. На утро автомобиль вытаскивали из озера подъемным краном. Он, видимо, всегда любил

жить широко, но выйдя на пенсию, действительно раскрепостился. Для него это был шаг, равнозначный моей эмиграции. Теперь, на свободе, он смог заняться иными связями с миром и другой литературой, ставшей для него эмиграционным приемом. До сих пор Алвина можно регулярно встретить в гимнастическом зале. В отличие от меня, он не задыхается астматически. Его любимая подруга младше его на полвека. И он знает поэзию Джона Донна наизусть. Но Меркурий, судя по всему, остался его божеством. Я легко могу представить себе его в виде посланника Олимпа, бряцающего на лире, – в виде телефона из черепашьего панциря, весело, при этом, подмигивающего. И все же в нем есть непередаваемая меланхоличность – сознание того, что из себя не выпрыгнешь, через свою судьбу не переступишь. Да и где тут взять черепаший панцирь? Однако как раз в этом я и ошибался.

Собрав по частям бюст Меркурия («Я его склею», сказал спокойно Алвин), мы, вооружившись бокалами с водкой-мартини, перебрались на террасу под разговор о роли корпораций и глобализации. Глянув на озеро впереди нас, через лужайку, я спросил Алвина, купается ли он тут регулярно? Алвин ответил, что когда-то купался в озере каждое утро, но больше этого не делает. Потому что в озере поселилась черепаха. Я подумал, что Алвин не хочет ее пугать. Но выяснилось, что наоборот: Алвин опасается черепахи. Он объяснил, что черепаха эта – кусачая. По моей улыбке он понял, что я понятия не имею, о чем идет речь. Тогда он показал руками размеры черепахи. Черепаха оказалась размером с собаку.

«Она может откусить палец», сказал Алвин. Шаг в сторону от цивилизации – и начинаются джунгли реки Амазонки.

«А как же Макс, он ведь имеет привычку лезть черт знает куда?» спросил я. Но Алвин сказал, что в ту зону, где черепаха, Макс никогда не попадает.

«Для Макса существует невидимая граница», уточнил он. Я хотел спросить, что он имеет в виду, но мне

помешал сам Макс. Он опять стал дергать меня, лезть ко мне на колени и вообще мешать разговору.

«Макс, ну чего ты хочешь?» спросил я его, глядя ему прямо в глаза. «Тебе не нравится наш разговор с Алвином? Я готов говорить с тобой на любую философскую тему. Ты хочешь обсуждать метафизику? Пожалуйста! Давай обсуждать метафизику. Но только не скажи как оголтелый. Как и все мы, ты хочешь освободиться, выскочить из самого себя. Но оставив собственное Я, ты уже не можешь судить о самом себе. В этом парадокс». Макс задумался и впервые за целый день затих. В этот момент из дома вышла на террасу подруга Алвина, Малика. Она не слышала нашей беседы. Она подобрала с травы мячик и запустила его в воздух. Макс, тут же забыв о моей метафизике, бросился ловить мяч.

Вы, надеюсь, давно поняли, что Макс – это собака. Пудель. Совершенно умильный, огромный, кудрявый и крайне недисциплинированный. Однако в тот раз, промчавшись метров двадцать, он неожиданно застыл на месте, как вкопанный, хотя до этого, мгновение назад, несся как безумный через всю лужайку за мячиком. Он явно ждал дальнейших инструкций хозяина. Малика направилась в его сторону.

«Видите? Мячик перелетел через невидимую границу. Макс не может переступить эту черту», – сказал Алвин. Оказалось, «невидимая граница» – это электроконтроль. У Макса – ошейник с сигнальным устройством. Прибор настраивается на определенное расстояние от дома, и как только собака переступает невидимую границу, устройство выдает сигнал, легкий электрический импульс, и собака останавливается. Рефлекс вырабатывается практически тут же, стоит лишь провести собаку один раз по этой невидимой границе отмеченной территории. Хотя Алвин и утверждает, что сигнал этот – совершенно безболезненный, но в Англии, наверное, подобное устройство было бы запрещено из-за массовых протестов Лиги защиты животных.

С другой стороны, если бы не это устройство, Макс давно растерзал бы черепаху. Или черепаха – Макса. Закон джунглей. Если бы тут вместо Алвина жил Меркурий, он бы из панциря этой черепахи сделал лиру, натянув вместо струн кишки Макса. Граница между божественным и человеческим столь же неуловима, что и между варварством и цивилизацией. Ее невозможно сфотографировать. Невидимая граница.

В джунглях цивилизации

Может быть, мы отличаемся от собак тем, что постоянно переступаем «невидимую границу», ту самую, которую не способен перепрыгнуть, благодаря электронному ошейнику со специальным сигналом, пудель моих американских знакомых. Подобную «невидимую границу» невозможно сфотографировать даже с помощью такого совершенного фотоаппарата с панорамным объективом, как мой миниатюрный «Олимпус». Так или иначе, но и сам фотоаппарат вместе с пленкой внутри исчез во время пересечения невидимых и явных границ на обратном пути из Коннектикута в Лондон. И тем не менее, я попробую описать если не саму эту границу, то ее пересечение. Стоит сделать неосторожный шаг в сторону, переступить невидимую черту нашей хрупкой цивилизации, и ты попадаешь в дикий мир современного варварства.

До нью-йоркского аэропорта Кеннеди мне надо было добираться на маршрутном такси фирмы под названием «Коннектикут Лимузин». Это нечто вроде маршрутных такси, отходящих от небольшой автобусной станции в городке штата Коннектикут. Недоразумения начались с самого начала. Я со своими двумя чемоданами, сумкой и переносным компьютером пытался выяснить, какой из микроавтобусов куда едет, причем девица из диспетчерской и расписание противоречили друг

другу. Когда подъехал еще один мини-бус и оттуда вышел макси-мэн с каменным лицом, он просто отказался отвечать на мои вопросы о конечной остановке своего предстоящего маршрута. Мне это сразу не понравилось. Но, преодолев свою врожденную нерешительность, я с остальными пассажирами последовал указаниям девицы-диспетчера с радиоконтрольным устройством и стал загружать свои чемоданы и все остальное в багажник этого микроавтобуса. По расписанию оставалось минут десять до отъезда. Я оставил сумку на автобусном сиденье и отправился разменять в кассе на станции пятидесятидолларовую бумажку – на тот случай, если понадобится носильщик в аэропорту. Пока кассир не спеша отсчитывал мне деньги, девица в наушниках перед диспетчерским пультом с мобильным радио сообщила мне совершенно невозмутимо: «А ваш микроавтобус уже отъехал, между прочим».

Я выскочил наружу. Автобус действительно уже отъезжал от остановки. Я думал, он вот-вот приостановится, чтобы подхватить меня. Но не тут-то было. Он стал набирать скорость. Вместе с выхлопными газами в жаркую дымку стали удаляться и мои чемоданы, и сумка, где были чек на несколько тысяч моего университетского гонорара и четыре тома моих дневников за последние четыре года. Ну и, конечно же, паспорт с билетом на самолет. И еще компьютер со всем моим литературным наследием последних десяти лет. Кровь бросилась мне в голову. Совершенно взбесившись, я бросился в панике за автобусом. «Стоп! Стоп!» орал я, идиотски размахивая руками на бегу. Нормальный человек вернулся бы на станцию и потребовал, чтобы автобус остановили по радио. То есть, может быть, девица из диспетчерской уже вела переговоры по радио с водителем автобуса, но я об этом не мог знать, потому что бежал в этот момент, как безумный, за автобусом по тротуару, сбивая пешеходов.

Автобус остановился только у следующего светофора. Двери открылись. Я вскочил в автобус и заорал на

водителя: что он, мол, рехнулся, что ли?! что он себе думал, отъехав раньше расписания, не потрудившись проверить, все ли пассажиры на месте?! Но водитель даже не повернул головы в мою сторону. Я сел на свое место, весь взмокший. Автобус двинулся. Со мной на борту. Постепенно я стал успокаиваться, но прохладнее мне от этого не становилось. В конце концов до меня дошло, что в автобусе явно что-то не то с кондиционером. Другие пассажиры, которые, казалось бы, не гнались за автобусом, как я, тоже были взмокшие. Мы все стали громко жаловаться на духоту. Но водитель не обращал видимого внимания на эти жалобы. Он стал небрежно крутить какие-то ручки на контрольной панели, но потом сообщил индифферентно, что кондиционер сломан. Окна, конечно же, были герметически закупорены. Именно так, наверное, и было в трюмах рабовладельческих галер. Я не выдержал и сказал довольно громко, чтобы водитель слышал: «Перед тем, как садиться за руль, полагается проверить исправность автобуса». Мне следовало помалкивать, как продемонстрировали следующие события.

Вместо обещанных полутора часов поездки продолжалась добрые три с половиной, то ли из-за пробок, то ли из-за того, что водитель толком не знал дороги и выбирал лишь знакомые ему какие-то окружные пути. Ад внутри как будто был отражением крупноблочного тюремного ада пригородов за окном. Когда мы добрались, наконец, до границ аэропорта Кеннеди, выяснилось, что наш водитель вообще не блещет интеллектом. На развилках к терминалам разных авиалиний он не мог произнести правильно практически ни одного названия. Каждый из пассажиров нервно повторял ему название своих авиалиний, чтобы тот не пропустил нужного поворота к терминалу. В этом кудахтаньи и переспросах водитель придумал для моей авиакомпании название *British United*, создав гибрид из *British Airways* и *American United*. Он в конце концов и остановился у

терминала, где размещались эти две авиакомпании. Я не возражал. Я был рад выбраться из этой душегубки. Когда он открыл багажник, я даже помог разобраться с чемоданами и вытащить два тяжелых своих. При этом мне пришлось поставить рядом на асфальт мой компьютер и сумку.

Я оглянулся в поисках портера (носильщика). Заметил одного неподалеку. Махнул ему рукой. Он прокричал мне: «Какие авиалинии?» Я прокричал в ответ: «British Airways». Он, как паромщик на другой стороне реки, проорал мне, что я стою против входа в United Airlines, а British Airways там, мол, в метрах двадцати по тротуару. Более того, стало очевидно, что наш водитель высадил меня практически посреди дороги, метрах в десяти от тротуара с моими двумя тяжелейшими чемоданами, сумкой и компьютером. У меня просто рук не хватит перетянуть все это к тротуару и дотащить до входа в терминал. Водитель и не думал мне помогать. Он издевательски оглядел меня, сел в кабину и отгазовал прочь.

Вокруг была страшная аэропортовская сутолока, сновали машины, сгружающие пассажиров у терминала. Они объезжали меня с обеих сторон и страшно гудели. Я с ужасом увидел, что справа от меня чей-то гигантский лимузин с затемненными стеклами, маневрируя в автомобильной сутолоке, стал неумолимо наезжать на мою сумку на асфальте, с фотоаппаратом и дневниками моего прошлого. «Стоп! стоп!» заорал я как неменяемый, чуть ли не бросившись под колеса: «Рехнулся, что ли?» Шофер лимузина, гигантский негр из фильма Тарантино с бритой головой, опустил стекло и спокойно сказал мне: «Я не рехнулся, man. Это ты рехнулся, man». Пока я соображал, открыв рот и не зная, что ответить, слева от меня, на мой компьютер у чемоданов, стал надвигаться еще один автомобиль. Я преградил ему дорогу своим телом. На углу, приостановившись у светофоров, за всем этим наблюдал водитель моего микроавтобуса из Коннектикута. Или так мне казалось. Я готов был поверить,

что все эти ужасы были подстроены им, чтобы отомстить мне за крайне несдержанные высказывания в его адрес. Это было похоже на ночной кошмар. Это была кампания террора. Это был фильм ужасов. Я переступил невидимую границу. Не было никаких Соединенных Штатов Америки, никакой Декларации Независимости или Прав человека. Это была зоологическая борьба за выживание в каменных джунглях. Я заорал, как сумасшедший. Кто-то в конце концов откликнулся из чащи. Меня отвели к стойке регистрации британских авиалиний чуть ли не с санитарями.

Бисексуальная каббалистика

Лондон – страна невидимых границ. Мы знаем детские легенды о магической двери в стене, о другой стране за каменным забором дома. Но иногда стоит просто завернуть за угол, и попадаешь в другой мир. За углом на северо-восток от нашей центральной фешенебельной улицы района Хэмпстед (Hampstead) начинается застройка собесовских домов – субсидируемое жилье для малоимущих, где выросло настоящее пролетарское гетто, белое, причем. Тут все по-другому, даже продажа продуктов в супермаркете: скажем, хлеб и молоко выставляются прямо на тротуаре перед входом. Говорят тут все, естественно, на своем пролетарском языке – свой словарь, свой выговор. В пабе – своя музыка. Ну и, конечно же, одежда. И тут понимаешь, кто есть герой пролетарских подростков: это, конечно же, Дэвид Бэкхэм, капитан английской сборной. Как во всяких бедных районах, подростки бродят по улице группами, и такое впечатление, что это – размноженный на копировалке единственный экземпляр, подстриженный под полубокс, ежиком, в фуфайке на молнии и с капюшоном, в тренировочных рейтузах и в кроссовках; все, короче, одно и того же дизайна, все содрано у футбольного божества.

Так, во всяком случае, все это выглядело до последних месяцев. Однако неожиданные перескоки в иные миры касаются в Лондоне и идеологических границ. Бо-

ги масс-культуры меняют идеи как гардероб и вместе с идеями – свой гардероб. Когда-то поп-звезда Мадонна называла себя материальной, точнее, материалистической девочкой («I am a Material Girl») и носила бюстгалтер поверх кофточки. Теперь же она переселилась в Лондон и стала у нас главной каббалисткой, мистической идеалисткой, но уже не девочкой. Недавно стало известно, что под влиянием Мадонны не только целый список голливудских звезд, но и сам Дэвид Бэкхэм увлекся еврейским учением Каббалы. Вместе с Мадонной стал использовать в одежде иудаистскую символику. Что же будет с моими подростками с соседней улицы? И вместе с ними все это матерящееся быдло, они – что, все запишутся в каббалистов с пейсами, в талесах вместо фуфаяк с капюшонами? Уж не знаю, каким боком вся эта мода для британской нации обернется. И для мирового футбола. Но я не удивлюсь. Каббала – этот мистический комментарий к Библии – в первую очередь провозглашает параллельное существование двух миров: мира рационалистического знания и мира просветленной жизни – прямо за углом, так сказать, на соседней, параллельной улице.

Параллельно недавнему сочувствию палестинцам вдруг в Англии пошло повальное увлечение иудаизмом, как когда-то в 60-е годы – буддизмом или сексуальным освобождением. В этом мире никогда не ясно, где кончается география – противостояние Востока и Запада, и начинается порнография, где бисексуальность, а где – Каббала. В свое время советский писатель Анатолий Кузнецов, автор книги «Бабий яр» про геноцид евреев, по ходу официальной лондонской командировки «по ленинским местам» сбежал в Сохо (там, как-никак, жил Карл Маркс) от своего гебешного «хвоста» во время осмотра порношопов. Годами позже Кузнецов, заядлый грибник, набрел в лесу под Лондоном на отличнейшую опушку с опятами и подосиновиками и увлеченно заносил эти грибные месторождения на свою самодельную

карту – для будущих экспедиций. Пока его не окружил военный патруль. Оказалось, что он случайно пересек незаметную границу военной базы: предупредительные знаки были на иностранном (для советского писателя) языке. Британский офицер, в свою очередь, никак не мог поверить, что каббалистические значки на карте у задержанного соответствуют разного вида местным грибам, а не типам межконтинентальных ракет. (Я украл эту историю с Кузнецовым для своего романа 80-х годов «Руссофобка и фунгофил».)

Для англичанина гриб – это либо отрава, либо наркотик, и то и другое – криминал. С другой стороны, английский армейский офицер склонен был видеть в этих экзотических знаках тайную символику. Вся викторианская Англия была в свое время помешана на иудаизме, изучала иврит, еврейскую Библию и Каббалу. Это была страна, выбравшая в премьер-министры еврея и беллетриста Дизраэли. Неофициальный гимн Англии (на слова поэта Блэйка) – про строительство Иерусалима на зеленых английских лужайках. Одним из самых популярных романов той эпохи был «Даниэль Деронда», где герой, англичанин-аристократ, обнаруживает, что он – незаконнорожденный и еврей. Автор романа, классик английской литературы Джордж Элиот, – женщина, между прочим, писавшая под мужским псевдонимом, что возвращает нас к теме бисексуальности и невидимых границ.

Даниэль Деронда из романа Джордж Элиот отыскивает своих предков-иудеев в трущобных кварталах Ист-Энда, Восточного Лондона, где евреи-эмигранты селились чуть ли со Средневековья – поближе и к докам в устье Темзы, и к денежным менялам Сити. Но, разбогатев, лондонские евреи стали переселяться с Востока на Запад, в пригороды северо-западного Лондона, на границе с парками, особняками и атмосферой респектабельности. Пару лет назад жители этого нового фешенебельного гетто ортодоксальных евреев очертили свой

район границей. Паспорт не требуется. Свидетельство о рождении – пригодится. Граница, нужно сказать, невидимая. Но существенная. Дело в том, что внутри этой границы начинается домашняя территория. Но домашняя она – только для евреев. И возникает у них в сознании только по субботам. Благодаря этой границе (егив) в этом куске Лондона ортодоксальный еврей может, как в собственном доме, перевозить детскую коляску от своих дверей до синагоги и обратно и заодно носить в кармане, скажем, очки, не нарушая талмудического закона. Масса, короче, возможностей. (Впрочем, с зонтиком ходить запрещается.)

Этой субботней зоны местные евреи добивались от райсовета несколько лет, но идея еще одного провода, кабеля или шнура над головами жителей никого не приводила в восторг. Тогда раввины предложили закопать этот пограничный шнур в землю – ведь граница, мол, условная, невидимая. Но тогда, спрашивается, зачем вообще шнур? Почему нельзя провести просто воображаемую линию? Тут, однако, разный подход к материалистическому идеализму и идеалистическому материализму среди евреев. Те же, кто не евреи, вообще перестали понимать, где они оказались: в некоем невидимом чужом доме?

Самое удивительное, что граница этой лондонской субботней зоны проходит по границе парка Хэмпстед, где гуляла и Джордж Элиот, носившая усы, и собирал грибы Анатолий Кузнецов. Но парк этот среди лондонцев знаменит еще и как место, где можно беспрепятственно развлекаться под кустом со случайным партнером из любых сексуальных меньшинств, главным образом, конечно, из гомосексуалистов и бисексуалов. Соседство субботней зоны с бисексуальностью я считаю неслучайным. Этот лесопарк – рай Эдемский, можно сказать, для Адамов с несколько нестандартной сексуальной ориентацией. Впрочем, секс и пол первого человека из Библии – это предмет ожесточенных споров теологов.

Один из самых авторитетных источников в моей домашней библиотеке, «Теологический Словарь» издательства Кембриджского университета, указывает мне, что в Библии Адам создается дважды. В первой главе книги Бытия «сотворил Бог человека по образу и подобию своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Во второй же книге Бытия говорится, что «создал Господь Бог человека из праха земного», но чтобы ему не было одиноко, «создал Г. Б. из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Дальше мы знаем, что произошло у них под тем самым яблоневым деревом из Эдемского лесопарка. Но какое, спрашивается, существо из праха земного имеет отношение к творению по образу и подобию Бога, не имеющему ни имени, ни телесной оболочки, ни, тем более, гениталий?

Великие еврейские теологи, знатоки Каббалы, считают, что в первой главе речь идет об идеальном прообразе человека, в то время как во второй главе описываются человекоподобные существа, заселившие землю. Изначальный же идеальный Адам был бесполом, или, точнее, двуполом, и в строке «мужчину и женщину сотворил их» под словом «их» надо понимать людской род вообще, каждого человека во множественном числе и в частности: то есть, Бог мужчиной и женщиной сотворил ЕГО, Адама. Если вы не доверяете мистическим толкованиям каббалистов, могу сказать, что талмудисты тоже так считают. Талмуд и Каббала – это два типа ученого комментария к Библии, а два еврейских комментатора чаще всего друг с другом не согласны. Талмуд, грубо говоря, занимается моральным кодексом еврейского человека (можно ли по субботам носить зонтик и кто должен гасить свет в туалете), в то время как Каббала – это сфера мистического. Так вот: двуполоя природа идеального Адама – тот редкий случай, когда талмудисты соглашались с каббалистами.

Неудивительно, поэтому, что практически все гении на свете на том или ином этапе своей жизни признава-

лись в неоднозначности своей сексуальности – от Вавилонской блудницы (и Каббала и Талмуд зародились в Вавилоне) до поп-звезды Мадонны. Она, как и каббалистический Адам, бисексуальна. Понятно, почему Мадонна во время своих шоу стала обвязываться tfillin – «филактериями». Могу объяснить неосведомленным (то есть тем, кто не следит за творчеством Мадонны): филактерии – это кожаные ремни с коробочками, тоже из кожи, куда запрятаны цитаты из Торы. Их надевают на лоб и на запястья (обвязывая ремешками локоть и голову) во время молитвы. Всякий, кто увлекается разными секс-игрушками, тут же угадывает, на что эти ритуальные ремни похожи: на садомазохистский биндаж.

Дрессировщики жизни

Совершенно ясно, что наша цивилизация – это чистое наказание. За что – неизвестно, но муки изобретательны и разнообразны. Российские люди уже почувствовали, что значит заполнять налоговую ведомость два раза в год. При этом надо еще ежемесячно закупать талоны на право парковки у себя на улице; мусор тебя заставляет каждое утро рассортировывать по четырем типам помойных баков; в офисе у тебя постоянно ремонт, меняют компьютеры или тип твоего контракта, а завтра вообще закроют контору; в супермаркете невозможно найти макароны, к которым уже привык. Сколько в наши дни разговоров в газетах про права нац-, зоо- и секс-меньшинств. Но кто-нибудь подумал о том, каково человеку с несколько искривленным позвоночником, вроде меня, ездить на новом типе лондонского автобуса? Он остался такой же двухэтажный и красный, как советский флаг (цвет британской, кстати, империи), но ради экономии места сменили внутренний дизайн. Мне наплевать на дизайн, с моим позвоночником мне важно, как устроены сиденья. Так вот сиденья (когда-то похожие на кресла в викторианской гостиной), на первый взгляд очень элегантные, стали страшно жесткие, узкие и впиваются тебе загнутыми краями в спину.

Но неудобство сидений в автобусах – это не исключение. Это правило. Та же история в новой столовой

Би-би-си. Там такая перекошенная мебель, не рассядишься – это, естественно, увеличивает оборот клиента. Зайдите в современный бар или кафе: там торжествуют минимализм и геометричность конфигураций. Это все, может, и элегантно, но геометрия не свойственна нашему телу неопределенных и изменчивых форм. Наши тела – формы наших искривленных российских душ – не влезают ни в какую геометрию. Недавно мой хороший приятель Павел Лунгин разъяснил нам публично, через «Независимую газету», что в Париже у каждого на лице формальная улыбка. В Париже все на продажу, но без улыбки, мол, ничего не продашь. А вот в России улыбаются не всем, только в виде исключения. То есть, мол, улыбка в России еще не статья дохода, а свидетельствует об искренней задушевности.

Лунгин ошибается. Вся разница в том, что в Париже привыкли к тому, что без улыбки ничего не продашь. А в России людей приучили к тому, что без улыбки ничего не купишь. Но Россия – уже давно часть все того же гнивающего Запада, что и весь остальной мир. В России наших дней тоже все продается. Большой выбор продуктов потребления. Почти как в Париже. В Париже просто больше разных типов улыбок на все случаи жизни, в то время как в России улыбка только одна – душевная, а с остальными – дефицит. Однако всякое общество пытается заставить человека встряхнуться от дремы, очнуться от обыденности и вспомнить о высшем предназначении. С этой целью в России, в отличие от Парижа, существует литровка водки, например, или прямо мордой об стол. В Лондоне такое тоже бывает. Например, проливной дождь. А потом жара. Систематическое издевательство климата над людьми, тут, пожалуй, Лунгин прав.

Вывод напрашивается один: современное мышление принципиально создает условия существования, находящиеся в вечном конфликте с нашей бесформенной задушевностью. Чем меньше веры в церковные и госу-

дарственные институты, чем либеральнее общество, тем суровее и строже дизайн, и вообще внешние формы жизни, с неудобными стульями, формальной экзотикой моды, с театром жестокости и секса. Я подозреваю, что европейское Средневековье – один из самых либеральных и просвещенных периодов человеческой истории. Достаточно поглядеть на их страшно неудобные кресла. Или взгляните на власяницы и вериги монахов, живших вполне спокойной и непыльной жизнью в своих кельях. В наши дни мы хотим показать друг другу и себе, что мы живем в джунглях, что мы – звери, что мы забыли все светлое, большое и чистое, кроме вымытых слонов и крупных откормленных детей. Мы – свидетели эпидемий, резни и стихийных катастроф. Мы знаем о темных, зловещих отсветах нацистской психики в каждом из нас. И поэтому мы искусственно создаем вокруг себя страшные неудобства и атмосферу запугивания, чтобы доказать себе, что мы, просвещенные дикари, можем эти ужасы цивилизации преодолеть и протянуть друг другу сердце на ладони, как на элегантной тарелочке ресторана *nouvelle cuisine* в Париже.

Телефон-автомат

В лесу неподалеку от загородного дома нашего друга лорда Робина – классическая английская телефонная будка. Вид этой красной будки тут настолько неуместен, что воспринимаешь ее как гигантский научно-фантастический подосиновик – с окошками для червяков (впрочем, подосиновики червивыми не бывают). Красный телефон на лесной опушке – это какой-то сюр: кому придет в голову звонить, собирая грибы? Разве что в случае смертельного отравления какой-нибудь поганкой-сыроежкой. Или если инфаркт. Или, скажем, заблудился. Или приземлился с парашютом и надо срочно связаться со штабным командованием.

Как-то в общем получается, что не так уж мало резон для подобного местоположения телефонной будки. Но главный резон: эта будка – символ связи с цивилизованным миром. И с нецивилизованным миром тоже. Из такой именно будки я в 70-е годы стал звонить московским друзьям: Лондон стал первым в западном мире городом, откуда можно было звонить напрямую в Москву. До этого ты зависел от милости советских телефонных операторов и цензуры. Возможность набрать номер и соединиться с любимой женщиной в Москве, опустив монету в уличном автомате в Лондоне, кружила голову и заставляла нас, русских лондонцев, перепробовать чуть ли не все уличные телефоны британской столицы. Нуж-

но сказать, опустить монету в старинном уличном телефоне было не так-то просто. Англичанин-мудрец придумал какие-то пружины, так что шиллинги и пенсы надо было вдавливать довольно сильно вовнутрь; слышно было, как они с грохотом и скрежетом заглываются различными отсеками телефонного механизма. Сделано это было, видимо, для предотвращения жульничества, вроде известного в России способа: на длинной палочке помещалась круглая пластинка размером с двухкопеечную монету – ею и включался автомат. В свое время, как мне сказали, сообразительные русские подростки использовали вместо жетонов колечки от крышек баночного пива. В традиционном английском автомате такие трюки не прошли бы. Но мощные пружины-предохранители тоже порой сдавали, что-то заедало, монета застревала где-то внутри, и связь уже не прерывалась. Так я однажды проговорил с Москвой около часа из паба, пока на меня не стали смотреть подозрительно. С телефонными карточками такое, видимо, невозможно. Впрочем, российские умельцы утверждают, что если использованную карточку для российского автомата заложить на сутки в морозилку, она восстанавливается. Телефон, короче, всегда хочется обмануть, чтобы он стал своим и помог преодолеть дистанцию между тобой и твоим собеседником.

Частные телефоны поэтому всегда отражают своим видом лицо и статус хозяина (вспомним мобильные телефоны). Но уличный телефон-автомат – красная телефонная будка (как и красная почтовая тумба и красный двухэтажный автобус) – это еще и национальный символ. Неудивительно поэтому, какой скандал поднялся, когда денационализированная, приватизированная и реорганизованная британская телефонная корпорация British Telecom стала распродавать под шумок классические телефонные будки и заменять их хлипкими конструкциями нового дизайна: еще одна возможность кому-то подзаработать на обновлении стационара. Оказалось, что

старинные телефонные будки из литого чугуна с удовольствием скупают как раритет, в массовом порядке, американцы: они устанавливают в них душ у себя в доме. Шум в прессе по этому поводу привел, наконец, к тому, что эти акты вандализма были пресечены: часть старинных будок сохранила вид на жительство, а в некоторых случаях, скажем, в старинных районах Лондона, красные будки были репатриированы из Америки. Так что красная телефонная будка в лесу – это еще и музейный экспонат, символ эпохи.

Но ревнители традиций в конечном счете потерпели поражение. Пару лет назад British Telecom потеряла монополию на установку уличных телефонов, и с этого момента телефонные будки самого невероятного дизайна стали плодиться воистину как грибы после дождя. Тут-то и стало ясно, насколько вид телефонной будки зависит от идеологического климата эпохи. Но зависимость эта не прямая. Спешу сформулировать свой тезис на этот счет: чем либеральнее режим, тем меньше интимна в телефонной будке, тем хуже защищает она тебя от окружающего общества.

Никто еще не воспел уникальную роль телефона-автомата в жизни Советской России. Ведь телефонная будка – это неожиданно редкое и уникальное в своей приватности помещение в мире советской коммунальности: среди обобществленного бытия это были твои четыре стены и крыша над головой – пусть на время, и дверь не запирается, но оказавшись внутри, ты обретал ощущение приватности, некой интимности, защищенности от сквозняка и непогоды жизни. В мире, где все используется не по назначению, телефонная будка по своей универсальности не имела себе равных. Во-первых, как уличный писсуар: где еще в Москве можно было комфортно помочиться как не в телефонной будке? Одновременно (или параллельно) тут можно было распить на троих – в тесноте, да не в обиде. А там, где водка, там и дружба и любовь. Телефонная будка была поли-

тическим убежищем для бездомных влюбленных. Тут, можно сказать, совершался весь жизненный цикл: встретился, выпил, полюбил, облегчился. Единственное, что крайне трудно было совершить в телефоне-автомате – это позвонить: за редчайшим исключением уличные телефоны обычно были сломаны, что, впрочем, лишний раз подтверждало далекую от прагматизма суть телефонной будки.

Телефонная трубка была, впрочем, неотъемлемым антуражем в событиях этого интимного мира посреди уличного произвола. Как бы ты ни пристраивался в ходе своих обжиманцев с партнером по телефонному общению, всегда оказывался по другую сторону телефонного аппарата. Когда тянулся губами к лицу любимой, скользкая холодная трубка всегда слетала с рычага с фрейдистской предсказуемостью. Пальцы до сих пор хранят память не только о наэлектризованной шершавости капроновых чулок или пуговиц зимнего пальто, но и помнят бакелит телефонной трубки, болтающейся на проволоке между ног. Правильный маршрут сквозь дебри зимней одежды угадывался по принципу «горячо-холодно», влага горячих губ путалась в темноте с мокрой от снега варежкой. В решительный момент скромница отворачивалась и твои губы сталкивались с заиндевевшим металлом телефонного аппарата.

Но все это относится к телефонной будке сталинской эпохи. Она была похожа на деревянный гроб, саркофаг, поставленный на попу, с маленькими окошками, похожими на тюремный глазок – бессознательным отражением английской башни-саркофага из литого чугуна с точно такими же маленькими оконцами, реминисценцией на английскую мысль о том, что «мой дом – моя крепость». Эта непроницаемость и громоздкость были идеологическим отражением не сталинизма (несмотря на переключку алого цвета с советским знаменем), а внутренней суровости британской короны в ее викторианском варианте. Внешняя тюремность, однако, была за-

логом внутреннего интима, с лакированной, под кремлевскую дубовую панель, обшивкой стен. В эпоху хрущевской оттепели этот дубовый гробовой уют сменился металлом, стеклом и бетоном. Чем больше становилось стекла, тем меньше интима. Потом стекла стали выбивать, металл ржавел, и двери перестали закрываться.

Мутации советской телефонной будки происходили синхронно с распадом (либерализацией) брежневского режима в преддверии второй русской революции: перестроечный уличный автомат или вообще гол, или едва прикрыт нелепым кокошником. Если взять крайний случай либерализации, то есть американскую демократию, то там телефонная будка исчезла как таковая: уличный телефон-автомат открыт всем ветрам, с козырьком, который едва прикрывает вашу макушку в случае дождя. Россия перестраивается в том же духе. Разве возможна тут классическая драма вторжения внешнего мира в твой телефонный интим: когда целуясь в телефонной будке, вдруг видел монстра, прилепившегося к окошку; это назойливый подросток, нагло подсматривающий за целующимися, расплющивал свой нос и губы о стекло.

В нашу эпоху эротический аспект телефонной будки как места, назначение которого связь между людьми, из контекста морального кодекса строителя коммунизма переместился, несколько неожиданно для меня, в английскую аморальность. Дело в том, что проститутки всех полов и цвета кожи выбрали новые телефонные будки в Лондоне как стенды для рекламы своего товара. Стены уличных телефонов залеплены изнутри рекламными открытками – обычно с фотографией, без адреса, но с номером телефона и с указанием своего, так сказать, профессионального секс-профиля (включая, естественно, и «телефонный» секс, то есть порнографические диалоги с клиентом по телефону). Выбор современной телефонной будки для подобной цели неслучаен. Эти уличные автоматы по своему дизайну пародируют классическую красную телефонную будку, но

только сделаны они уже не из литого чугуна, а из стекла: интим прежнего телефонно-будочного мира теперь весь просвечивается, просматривается, он весь насквозь виден. В этом есть нечто порнографическое. Поэтому эти будки и стали использовать в качестве рекламы разнообразных секс-услуг.

Муниципалитет и полиция борются с этим рассадником порока всеми доступными способами, но толку от этого мало: не следить же в самом деле за каждой телефонной будкой. А вот один сообразительный галерейщик взял и выставил целое собрание этих открыток как новый жанр изобразительного искусства, даже выпустил альбом-каталог. И тут же был привлечен к суду за плагиат: оказывается, у этих открыток есть свои профессиональные авторы-дизайнеры. Все заурядное в жизни уже было произведением искусства для кого-то еще.

Бродячие лорды

У нас на Альбионе воинствующие пацифисты и защитники прав животных запретили охоту на лисиц. Травить лисиц нельзя. Но зато можно вытравить лордов с наследственным титулом из их собственной Палаты. Скоро возьмутся и за отстрел фазанов, я имею в виду за запрет на фазанью охоту. Я люблю и фазанов, и наследственные титулы. Мы приучились к фазанам, поскольку жили одно время в поместье моего старого приятеля, покойного лорда Робина, где дичь поставлялась к столу прямо из семейных лесных угодий Филлиморов. Но сам Робин уничтожал фазанов на тарелке с ненавистью, я бы сказал, расиста: он презирал их в живом виде – не как кулинарное блюдо, а за их породу, их происхождение и образ жизни. Он однажды провел меня по фазаньим загонам. Фазанов разводят за колючей проволокой, как в концентрационном лагере. Причем проволока под электрическим напряжением, и затеяна эта электрификация фазаньего концлагеря против собак, кошек и других бродячих животных, чтобы они туда не лезли. Эти наивные английские домашние существа гибнут ради летающих тварей довольно-таки сомнительного происхождения. Фазаны, как известно, были завезены на Альбион бог знает откуда – из какого-нибудь Цейлона, короче, из тех псевдонародных республик, где царствует жесточайшая азиатчина и тирания.

Чем южнее страна, тем хуже там обращаются с кошками и собаками. Нигде я не видел такого количества ободранных бродячих кошек, как в Португалии. Я видел, как жутко выглядят бродячие собаки на Мальте, а на райском острове Бали собаки – как будто марсианские монстры. С другой стороны, на Мальте совершенно не найти никакой живности разумных размеров, кроме женщин. Мужчины бродят с двустволками и ищут, в кого бы пальнуть. От отсутствия подходящей мишени они отстреливают миниатюрных птичек, что-то вроде колибри, похожих, скорее, на бабочек, чем на птиц. Робин одно время сотрудничал с обществом «Друзей земли», разновидностью Общества защиты животных и вообще природы, и боролся за гармонию в отношениях между людьми и животными. У него возникла даже идея обменивать английских фазанов на мальтийских собак – по крайней мере, тамошним мужчинам будет в кого стрелять безнаказанно.

Это от меня он узнал, что эпидемия бешенства среди собак в Советском Союзе всегда совпадала с очередной сталинской кампанией борьбы с внутренним врагом. Именно поэтому он увлекся борьбой за права российских диссидентов: чем больше диссидентов попадет в тюрьму, тем больше домашних животных – собак и кошек – лишатся хозяина, станут бездомными, бродячими и будут заподозрены в бешенстве. У него даже возникла идея обмена советских диссидентов на английских фазанов. (Вот почему он в конце концов и женился на леди Марии – родом из России.) Эта программа гуманитарной помощи так и осталась неосуществленной. Лорд Робин скончался одновременно с развалом советской системы.

Советские обвинения в бешенстве среди собак сменились домыслами о бешенстве английских коров со стороны лидеров Европейского Союза. Сейчас в этом смысле лидируют французы, известные лягушатники и социалисты. Как будто коммунизм, по закону сообщаю-

щихся сосудов, уйдя из одной части света, переместился в другую. В свое время именно противники охоты на фазанов и пальцем не пошевелили ради спасения бродячих собак и диссидентов. Сейчас все эти «европеоиды» выступают против так называемого «кровавого спорта» – охоты на обитателей лесного царства. Это те, кто готов убить половину человечества во имя торжества вегетарианства во всем мире. Русский экстремист Лев Толстой был против убийства мух и комаров. Но пора подумать и о рыбах. И о том, как корчится в муках трава английских газонов, когда мы вступаем на нее своими задними лапами.

Лиса в чужом посольстве

В день демонстрации за права фермеров и в защиту охоты на лисиц трудно было пробиться ко входу в метро: весь Лондон был запружен толпой, разодетой, главным образом, в твид и резиновые сапоги. Я знаю, что российские туристы испытывают особые сантименты к твиду. Стоит русскому человеку поселиться в Лондоне, он первым делом покупает себе твидовый пиджак и трубку. Но в действительности твидовый пиджак – это служебная форма английского колхозника. Причем, чем аристократичнее фермер, тем твид этот более потрепанный, весь в собачьей шерсти и пахнет лошадиным навозом. Парадоксально, что твидовые пиджаки носили еще и университетские профессора. Может быть потому, что должность профессора – это ежедневное перелопачивание навоза знаний?

Кроме твидовых пиджаков, на улицах Лондона замелькало огромное количество фермерских резиновых сапог. В этом есть даже практический резон: Лондон считается одним из самых грязных городов в мире. Улицы завалены помойными мешками. В резиновых сапогах и твиде вышагивали жители сельской местности, протестующие против нарушения права человека убивать лису, загоняя ее до смерти гончими пасами. Британское правительство принимало закон, запрещающий подобную охоту – «бесчеловечное отношение к лисам».

Пробившись, наконец, сквозь толпу, я заметил у арки метро крысу, смирно охраняющую вход в подземку:

их там расплодились миллионы. Рядом с небруанными помойными баками копошилась лисица. Обеспокоенная моим пристальным взглядом, она развернулась и, присоединившись к толпе фермеров, зашагала с ними в ногу вдоль по главной улице нашего района, пока не добралась до следующего помойного бака. Зрелище было поучительное: жертва-лисица шагала в едином марше с теми, кто отстаивал право убивать ее – бесчеловечно и систематически, с бешеными псами.

Вспоминаешь немецких евреев, чуть ли не с энтузиазмом маршировавших в газовые камеры, поскольку инстинктивно соблюдали «порядок». Это несколько рискованное сравнение с евреями возникло не случайно, как и упоминание крыс. Дело в том, что главный противник псовой охоты в XX веке был Гитлер. Кроме плебейской ненависти к аристократическим увлечениям, вегетарианец Гитлер считал, что акт убийства зверя должен исключать какое-либо мучение животного, смерть должна наступать быстро и безболезненно. Не в этом ли и состояла идея газовой камеры для евреев? Гитлер запретил раз и навсегда охоту на лисиц с гончими, при этом быстро и безболезненно уничтожив шесть миллионов людей. Есть явно нечто бесчеловечное в любви к животным.

Но вернемся к нашим лисицам, марширующим нога в ногу со своими потенциальными убийцами. Вы скажете: это была лисица низкого, плебейского происхождения – уличная лиса-побродяжка. Мол, есть лисы другого рода, как есть собаки бродячие, а есть домашние, есть прирученные, а есть дикие. Это, конечно, верно. На протяжении многих лет я наблюдал из окна лису на лужайке нашего дома. Лондон – город садов и парков, спрятанных за фасадами домов. Тут водится всякая живность: от белок до уток в садовых прудах. Попадаются и лисицы. У моей лисицы вид был действительно почище, чем у той, уличной: рыжая, с пушистым хвостом. Это была, так сказать, городская лиса-домовладелица среднего класса. Не сомневаюсь, что между ними есть и ари-

стократки. Есть, во всяком случае, те лисицы, что состоят на дипломатической службе.

Я имею в виду семейство лисиц в саду финского посольства в лондонском Кенсингтоне. Судя по фотографиям в газетах, это крайне породистое семейство. Оно вызывает умиление у финского посла: он утверждает, что никто так нежно не относится друг к другу, как лисы-родители к своим лисам-детюшкам, как они лобызуют друг друга каждое утро, кувыркаются и развлекают друг друга. И обеспечивают друг друга всем необходимым.

Именно это и приводит в ужас садоводов, фермеров, владельцев домов: лиса – жуткий разрушитель садового хозяйства. Она подрывает корни кустов, разрывает газоны, отравляет птиц своим запахом и фекалиями. И ворует кур и уток. Короче, с этим прекрасным рыжим существом надо бороться всеми возможными способами. Тем более, когда речь идет об угрозе международного масштаба. Дело в том, что семейство лис из финского посольства пристрастилось к теннисным мячам, разбросанным по теннисному корту и газонам финских соседей – посольства России в том же Кенсингтоне. Зачем финским лисам, пролезавшим сквозь забор, понадобились русские теннисные мячи, я не знаю.

Моя собственная безумная гипотеза на этот счет связана с войной между Англией и Францией в средние века. На суровые требования, выдвинутые Генрихом V, французский двор послал английскому королю пару теннисных мячей – не без сексуальных намеков: мол, катись, куда подальше, Генрих. Тот настолько взбесился, что вторгся во Францию и разбил французов в пух и прах. Не собираются ли лисы воспользоваться русскими теннисными мячами для аналогичных намеков, перессорив всех в ходе конфронтации великих держав с Багдадом? Или же это намек на советско-финскую войну в прошлом?

Нечестная игра

Что может быть умильнее, на первый взгляд, чем игра в крикет? Особенно с точки зрения иностранца. На зеленой лужайке старой доброй Англии люди в белых одеждах совершают загадочные действия: сначала все застыли, потом кто-то метнул мячик, другой с битой в руках его отбил, куда-то все побежали, потом снова собрались, ждут, потом опять разбежались в разные стороны с мистической целью. Со стороны публики раздаются ленивые хлопки и одобрительное аристократическое похрюкивание. Леди и джентльмены в соломенных шляпах сидят в шезлонгах и на протяжении многих часов потягивают пиво и коктейли вроде настойки «Пиммс», куда кладут кружок огурца и дольку апельсина и еще веточку свежей мяты – своеобразная получается алкогольная окрошка с не менее мистическим, чем сама игра в крикет, вкусом и эффектом. Конечно, у крикета бывают и другие масштабы, вроде состязаний стран Содружества (бывшей Британской империи) от Австралии до Индии и Тринидада. Тогда матч происходит на большом стадионе, и хотя наблюдаешь все издалека (или перед телевизором), и шуму, конечно, больше, но на трибунах – при всем нагнетании страстей – атмосфера в принципе мало чем отличается от таковой в английском поместье. То есть, на первый взгляд – это не спортивная игра, а некий абстрактный балет или религиозная церемония, ма-

нипуляции чем-то невидимым по невидимым правилам. А может, в связи с периодической сменой игроков это англичане так размножаются, прямо на людях, кидаясь друг в друга мячиками?

Кто бы мог подумать, что на этом изящном занятии можно сделать миллионы? На днях газеты сообщили о начале грандиозного уголовного расследования в связи с манипулированием и подкупом игроков в международных матчах по крикету в 70-е годы, когда в ряде случаев, как сейчас выясняется, результаты заранее подтасовывались. Скандал оглушительный. Потому что крикет – это не просто игра, это – образ жизни, лицо нации, и чуть ли не весь английский язык, наполовину состоящий из Шекспира, а наполовину из крикетного жаргона. Несмотря на довольно простые принципы этой игры, ее тонкости связаны чуть ли не со всей природой поведения англичан. «Не-крикетно» означает не только «нечестно», но еще и «бесчеловечно». Однако и сами правила игры, в общем-то несложные, несколько парадоксальны для человека непосвященного.

«Чтобы понять крикет, милейший, вы должны отключиться от идеи, что очки зарабатывает тот, кто бьет по воротам. В крикете очки засчитываются тому, кто, наоборот, отбивает мячик», просвещал меня в свое время алкоголик Джим из нашего паба. Он в юности отыгрался в крикет в состязаниях деревенских против аристократии. Я же овладел элементарными основами крикетного знания, когда стал посещать матчи Литературного приложения к газете «Таймс» против издателей.

Во время одного из таких матчей в баре при крикетном поле я оскорбил одного из влиятельнейших фигур лондонской интеллигенции, назвав его «литературным убийцей», потому что, заняв должность главного редактора в издательстве, он решил не печатать моего нового романа, уже готового к публикации в переводе. Он имел наглость приблизиться ко мне в баре во время крикетного матча, чтобы пожать мне руку. Мы, мол, люди ци-

визированные. Потом, бормоча что-то невразумительно вежливое, стал крутить самокрутку, как это модно среди курящей либеральной интеллигенции: не покупать сигареты, продукт глобальных табачных корпораций, а якобы скручивать их самому, по-домашнему, из специальной папиросной бумаги. Я стоял перед ним и лихорадочно думал, как и чем мне его оскорбить. «С вашими литературными критериями я бы, на вашем месте, давно прекратил бы издавать книги», начал я, подыскивая необходимую едкость тона. «На вашем месте я бы занялся производством папиросной бумаги». Он удивленно поднял брови. Я пояснил: «Папиросная бумага дешевле, чем печатная страница, и легче горит». Я увидел, как люди, стоявшие вокруг нас, как только зазвучали мои оскорбительные реплики, стали куда-то незаметно исчезать. Атмосфера расслабленности во время крикета – сплошная видимость, как многое в Англии.

В центре игры в крикет – конфронтация между бэтсменом (batsman), вратарем с битой-лаптой перед маленькими воротцами, и подающим, боулером (bowler) из команды противника, который швыряет в бэтсмана крикетный мяч. Боулер пытается «выбить» бэтсмана. Бэтсмен выходит из игры, если мяч разбил его воротца, или же отбитый им мяч поймали в воздухе члены команды противника, которые стоят вокруг по всему полю; или же мяч попал в бэтсмана, не задев его лапты перед воротцами. Пока отбитый им мяч находится в воздухе, бэтсмен делает «пробежки», и по числу этих пробежек и начисляются очки его команде. Когда один бэтсмен выбит, его место занимает другой, пока все одиннадцать членов команды не будут выбиты. За это время команда набирает определенное количество очков. Это число сравнивается с числом очков, набранных противником во втором туре игры, когда команды меняются ролями: то есть уже другая команда выставляет бэтсменов-вратарей и зарабатывает очки пробежками; а противники выставляют боулеров-подающих, которые пытаются этих

батсменов выбить, не дав им заработать пробежками, пока отбитый мячик в воздухе. Понятно, надеюсь? Перечитайте внимательно. Время есть, потому что игра длится иногда целую неделю.

Я излагаю очень огрубленно. А дело все в деталях. Но даже если вы разобрались в подробностях правил игры, оценить ее по-настоящему практически невозможно, если вы не родились в этой стране. Вся сложность этого занятия состоит в том, кто как кидает мячик и кто как его отбивает. Крикетный мяч лишь на вид и по размерам похож на теннисный. Во-первых, он довольно тяжелый, граммов двести, из спрессованной натуральной гуттаперчи. Его поверхность разделена на две половины. Одна гладкая, другая шероховатая. Это для того, чтобы он закручивался в воздухе и летел непредсказуемо для батсмана. Летит он со страшной скоростью. Знаменитые боулеры, вроде Гарольда Ларвуда, запускали мяч с разбега со скоростью около 90 миль в час (максимальная скорость автомобилей на британских автострадах – 70 миль). Двести граммов при скорости выше ста километров в час – это страшнее пули. Этим мячиком можно убить. Что, собственно, и происходило в старые добрые времена, когда игроки в крикет не носили защитных шлемов, вроде фехтовальных. Кроме того, великие боулеры закручивают мяч так, что непонятно, куда он полетит, отскочив от земли прямо у ног батсмана. Тут свои неписанные правила честной игры. И свои трагедии.

Самый любопытный для нас, знакомых с проблемой коллективной ответственности, эпизод из истории крикета – это матч между Англией и Австралией в 1933 году. За год до этого английская сборная потерпела позорное поражение, и капитан команды Дуглас Джардин решил на этот раз выиграть, не стесняясь в методах. Если швырять это страшное орудие, крикетный мяч, так, что он приземляется у самых ног батсмана, тому крайне трудно этот мяч отбить. Мяч отскакивает со страшной

силой прямо в грудь или голову. Подобная тактика не противоречила правилам, но считалась недостойной. Выполняя решение своего капитана, гений своего дела, боулер английской сборной Гарольд Ларвуд стал кидать мяч именно таким образом. По ходу дела он рассек лоб одному из австралийских бэтсменов и повредил грудную клетку другому. В апогей матча ревущие от возмущения трибуны были взяты на всякий случай в кольцо конной полицией. После победы англичан австралийское правительство подало ноту протеста, тем самым ставя под сомнение достоинство чуть ли не самой британской короны.

Когда команда вернулась в Англию, большинство членов сборной в лице капитана Джардина представило публике Гарольда Ларвуда чуть ли не как единственного виновника и инициатора безобразного эпизода в истории английского крикета. Гарольд Ларвуд, родом с севера Англии, был сыном шахтера, ему трудно было себя защищать, учитывая, что Джардин, как и большинство членов сборной, был из высших классов. Им, так сказать, верили на слово. Ларвуда сделали козлом отпущения. Его оплевывала пресса и буквально прохожие на улице. Когда встал вопрос о продолжении его участия в крикетной сборной Англии, от него потребовали официального извинения и торжественного обещания больше не прибегать к агрессивной тактике обращения с мячом, хотя всем прекрасно было известно, что он выполнял лишь инструкции своего капитана. Ларвуд ответил: «Я англичанин, и ни в чем оправдываться не собираюсь».

Не напоминает ли эта дилемма все то, что происходило тогда в Германии, где в те же годы Гитлер пришел к власти, или в Советском Союзе, где тогда ввели закон об измене родине? Как будто в определенные моменты истории некоторые идеологические конфликты распространяются как эпидемия по всему земному шару. Гарольд Ларвуд ни перед кем не извинился. И не предал

своего капитана. Он просто эмигрировал. В Австралию. Больше этот гений «быстрой подачи» в крикете не участвовал. Он жил тихой семейной жизнью все последующие шесть десятков лет, работая лифтером. Я всегда вспоминаю его в июне месяце, в разгар крикетных матчей, наблюдая эту милую английскую игру в невидимое по невидимым правилам.

Каждую лондонскую осень я восхищаюсь созревшими плодами диких каштанов (по-английски «конкерс»): эти орехи в зеленом футляре кожуры похожи на отлакированные глазницы какого-то прекрасного мертвого монстра – они падают с перегруженных ветвей осенних каштанов и отпрыгивают с цоканьем, приземлившись на тротуар или гаревую дорожку лондонского парка. В пищу эти шедевры природы не годны, по-моему, даже свиньям. Их можно лишь держать для красоты на каминной полке или швыряться ими как расшалившиеся дети. Английские школьники играют в «конкерс» следующим образом: привязывают каштан на веревочку и, используя его как ядро на цепи, пытаются расколоть им каштан противника. Выигрывает, естественно, владелец самого крепкого каштана.

Этой осенью я в очередной раз наблюдал «войну» школьников, вооруженных каштанами, с лавочки в аллее парка Регента (от нас за углом), время от времени заглядывая в консервативную газету «Телеграф», где и вычитал поразительную историю о роли каштанов в военной истории Англии. Дело в том, что во время Первой мировой войны у англичан возник дефицит ацетона, необходимого для производства артиллерийского пороха. Перепробовали все, что можно, и все без толку, пока в Министерство обороны не обратился с рациона-

лизаторским предложением некий еврей с кафедры химии Манчестерского университета. Еврей придумал, как производить ацетон из обыкновенных диких каштанов. Все население заставили собирать этот удивительный плод, годный, казалось бы, только для игры в войну среди школьников. Никто не понимал, зачем собирают эту дребедень. Но эффективность производства ацетона из каштанов оказалось настолько велика, что британское правительство не осталось в долгу. Еврея-химика звали Хаим Вайцман; он был известным сионистом, и его инициатива по созданию еврейского поселения в Палестине была встречена доброжелательно британским правительством, выступившим с декларацией Бальфура 1917 года, заложившей основы сионистского государства и в конце концов приведшей к созданию государства Израиль в 1948 году. Хаим Вайцман стал первым президентом этого государства, построенного, таким образом, не только на песке иудейской пустыни, но и на английских каштанах.

Школьная игра в «конкерс» по раскалыванию каштанов в наши дни трансформировалась в палестинскую традицию швыряния камнями (не без библейского, конечно, влияния). Я вспомнил об этом не только из-за кровопролитных беспорядков в Израиле. Дело в том, что на краю парка Регента стоит центральная мусульманская мечеть Лондона. Мечеть – с гигантским золоченным куполом – точная копия мечети Аль-Акса на месте Храмовой горы в Иерусалиме. Когда пересекаешь парк с юга на север, в сторону моего дома, видишь террариум Лондонского зоопарка по соседству. Он построен в виде искусственных скал; они высятся впереди – справа – неким Синайским архипелагом на горизонте, и вместе с мечетью – слева – создают иллюзию того, что ты – в Палестине. Но эта географическая иллюзия, этот визуальный сдвиг может возникнуть перед глазами только у того, кто хоть раз побывал в Святой Земле и запомнил это навсегда.

Религиозному еврею подобные миражи совершенно ни к чему. После разрушения Второго Храма и рассеяния, иудейское царство для него – это Библия и талмудические законы. Вся изощренная мысль библейских толкователей – от Вавилона до средневековой Испании – была направлена на то, чтобы сохранить религию единобожия в отсутствие страны, Храма, жертвенника и трона Божия. Идея слова как указания к действию была подменена идеей интерпретации слова как единственного занятия на свете. Это религия людей, знавших, что Иерусалим земной – разрушен, и лозунг «В следующем году в Иерусалиме» подразумевает всегда следующий, а не нынешний год. Это теология людей, которые возвели невозможность возвратиться домой в религиозный принцип: иудаизм, каким мы его знаем сейчас, – это религия невозвращения, религия перманентного плача на реках Вавилонских, религия изгнания и эмиграции, когда и Храм и Иерусалим перенеслись на небо.

Вместо вавилонских евреев на место Храмовой горы приземлился, вылетев из Мекки, еще один великий путешественник, Магомет, чтобы оттуда отправиться на небо. Теперь обе религии отстаивают право на это место в Иерусалиме как на свою религиозную святыню. Обвиняют друг друга в географической путанице. Никто толком не знает, где был первый, а где второй храм, где была Голгофа и где Магомету был вручен авиабилет на небо. Но многие толкователи библейской истории скажут вам, что храм вообще никогда не был существенен для евреев даже в эпоху царей иудейских: были периоды, когда храм был, были периоды, когда его не было, но иудаизм и еврейство продолжали функционировать. И уж тем более нечего трястись над камнями и стенами, которые остались стоять тут со времен турков, вроде Стены плача. Если уж на то пошло, израильское правительство может обеспечить на американские деньги каждому еврею свою личную стену плача. Именно этого, вроде бы, и добиваются религиозные партии в Израиле.

Возведение стен было любимым занятием авторитарных вождей человечества, изоляционистов по своему темпераменту: от Великой Китайской стены до стены Берлинской. Кроме того, что стены отделяют «добро» от «зла», «кошерное» от «трефного», «коммунизм» от «капитализма», эти перегородки мирового масштаба помогают еще и ориентироваться на местности. Я недавно был в Берлине (ноябрь – юбилей объединения Германии и падения Берлинской стены), и мой берлинский друг рассказал мне, что берлинцы, запутавшись на улице, до сих пор спрашивают друг друга, где тут была Стена, чтобы понять, в какой части города они находятся.

Есть в феномене стены, в ее насущной, казалось бы, необходимости и исключительно мужской страх оказаться в открытом поле, где все просматривается. Где, главное, негде помочиться. Я не шучу. Женщина, если вы заметили, может присесть и на лужайке, и посреди снежной равнины, прикрыв ноги юбкой, и спокойно справить нужду. Мужчине же необходимо какое-то заграждение, отчасти от ветра, но главное – от позора. Не говоря уже о мужской тенденции везде оставлять след своей деятельности.

Отсюда недалеко до обычая тех ортодоксальных евреев, кто отчитав молитву, оставляет записки в щелях Стены плача, отстроенной турками, султаном Сулейманом, а вовсе не библейским царем Соломоном. Ничем от шаманской религии или всякого другого фетишизма этот обычай не отличается. Это – недостойное для еврея поведение. Каждый здравомыслящий иудаист скажет вам, что подобные идеи «своей стены» – идолопоклонство. Именно об этом трубил в 70-е годы религиозный еврейский философ, профессор Иешаяху Ляйбович: израильские религиозные евреи вместо Бога стали поклоняться камням.

Послушайте: иудаизм стал величайшей на свете религией именно потому, что отказался от всякого оконча-

тельного материального воплощения идеи единого Бога. Даже Его имя – не называется. Он везде и нигде, и потому Он – вездесущ и всемогущ. Он не нуждается ни в троне, ни в жертвеннике, ни в стене храма. Оставьте эти мощи – христианам, эти камни – магометанам. Истинные иудаисты должны быть выше этого, выше всего, за что цепляются другие, должны быть готовы к рассеянию, чтобы не стать вновь идолопоклонниками.

Человек из Назарета

За неделю до кончины Папы Римского я оказался в Назарете, в центре израильской Галилеи, где большинство населения – арабы. Все говорят о палестинцах-самоубийцах или об израильских фашистах. Никто не хочет знать об израильских арабах. А их, как-никак, миллион с лишним, чуть ли не треть израильского населения. Мой гид по Назарету, Тарик (я нашел его через общих приятелей), объясняет, что с его происхождением в арабском мире тоже нелегко. Когда ты называешь себя израильским палестинцем, реакция – замешательство: так ты израильтянин или палестинец? Он – и то, и другое. Он – палестинец с израильским гражданством. В армии он при этом не служит: «Не могу же я расстреливать из автомата своих братьев!» Я в ответ: «А евреи – разве не двоюродные братья?»

Но тут начинается метафизика братьев в отличие от кузенов. Тут арабы-христиане соседствуют с мусульманами и евреями. Мусульмане пытаются отстраивать мечети там, где христиане раскапывают и реставрируют еще одну христианскую святыню для английских туристов. Те же арабы жалуются на отсутствие достаточных субсидий от израильского правительства на реставрацию старого города: многие дома стоят заброшенными, денег нет. При этом араб (мусульманин, христианин или друз), продавший дом еврею, считается предателем сво-

его народа. Неясно, правда, какого, собственно, народа. Но самое главное не в конкретных конфликтах: самое главное, что все стали говорить об этом в открытую. Когда тебя имеют все – и в хвост, и в гриву, ничего не остается, как получать от этого удовольствие.

На рыночной площади – запах кардамона, корицы и кунжута, дешевого табака и крепкого кофе, свежеспеченной лепешки и ослиного помета, апельсинового цветения и дыма жаровен, холодного камня и стираного белья. Именно в такую атмосферу меня, эмигранта с двойной подкладкой, всегда тянуло: смесь языков, религий, обычаев. Не в этом ли состоянии двойственности я прожил всю жизнь? Замурованный толстыми стенами советской власти в кухонную интимность интеллигентской болтовни? Или же в вечном ожидании поезда с багажом российской юности в бесконечном объяснении самого себя соседям-пассажирам на вокзале английской жизни? Когда попытка забыть обиду ради светлого будущего накладывается на понимание невозможности окончательной близости и одновременно готовности открыться в дружбе, на сознание непоправимой двойственности ситуации и надежды на ее преодоление.

И эта двойственность притягивает не меня одного. Как-никак, а Назарет – это не только арабские жители с раздвоенной лояльностью, но и место, где архангел Гавриил объявил о предстоящем появлении на свет человека загадочного происхождения (мать – еврейка, отец неизвестен) и, мягко говоря, двойственного отношения со своими двоюродными братьями (по отцовской линии), не говоря уже о тройственной ипостаси своей личности. Тут не обойдешься без Папы Римского. Самое меланхолическое зрелище: капелла германской церкви во дворе Храма Благовещения, где представлены алтарями все нации. В храм, вовнутрь, немцев не пустили. Почему? Да потому, что, по словам Тарика, капелла была построена сразу после войны, геноцид, мол, и все такое. И это – христианское братство? Иоанн Павел Второй

знал, куда надо ехать. Может быть, потому, что, кроме приверженности католицизму, он всю жизнь увлекался театром. Не говоря уже о том, что он дошел до ворот Ватикана из Польши. Это он был первым из римских пап, кто во время визита в Сирию вошел в мечеть. (В его обычае становиться на колени и целовать землю страны, где он приземлился, было нечто мусульманское – по крайней мере, в позе.) Он был первым Римским Папой с официальным визитом в Израиль, что тоже было довольно-таки радикальным шагом: многие годы Святая Земля в глазах Ватикана была просто-напросто оккупирована сионистским государством.

Я представляю себе, что творилось на улицах Назарета в год двухтысячного юбилея христианства. Но, по словам Тарика, порядок был образцовый: израильские службы безопасности каждого из многотысячной толпы держали под контролем. Интригующая сцена. Впрочем, фотографий этого события, кроме официальных, практически не осталось: как только кто-нибудь в толпе вынимал фотоаппарат, его тут же выхватывали и отводили в сторону. Мало ли чего. Папа Римский выбрал, естественно, для своего визита в Назарет праздник Благовещения, тот самый день, когда архангел Гавриил решил спуститься с небес и посетить Назарет. Этот день я провел с микрофоном в руках как человек всемирной службы радиовещания. Благовещение, радиовещание, – сходные специальности.

Возвратившись в Лондон, я разговорился об этом визите в Назарет со своим коллегой по Би-би-си. Тот тут же сообщил мне, что однажды (еще в XX веке) лично встретился в толпе с Иоанном Павлом Вторым, когда тот выходил к толпе верующих на площади Св. Петра. Наш человек из Москвы оказался практически в первом ряду, прямо за инвалидами, увечными, немощными и болезными. Увидев Папу в непосредственной близости, он не выдержал и закричал (по-русски): «Я русский, я русский!» (То есть, он был евреем из России.) И Кароль

Войтыла его услышал. Развернулся и направился прямо к нему. Остановился перед ним и стал говорить. Вокруг набежали фотографы. Мой приятель показывал мне фотографии – он и Папа Римский, лицом к лицу. Папа Римский говорит. Мой приятель стоит, совершенно ошарашенный. По его словам, Папа говорил очень убедительно.

«О чем же он говорил?» спросил я.

«Не знаю. Меня многие корреспонденты спрашивали. А я не знаю».

«Как же так?»

«Дело в том, что он говорил по-польски. Очень убедительно. Но я совершенно ничего не понял. Я по-польски ни гу-гу». Магнитофона при нем не было. Великий монолог Иоанна Павла Второго, обращенный к русскому еврейю на площади перед собором Св. Петра, так и останется тайной двадцатого столетия.

Утопия и утопленники

Мы прощались с двумя тысячелетиями христианства, с XX столетием – с веком тоталитарных утопий, от нацизма и коммунизма до красных кхмеров и мусульманского фундаментализма. По-русски почему-то слова «утопия» и «утопиться» – одного корня. После меня, мол, хоть потоп. Англия – родина утопий, от Томаса Мора и Гоббса до незабвенного поэта Уильяма Блэйка, написавшего неофициальный национальный гимн (своего рода «Широка страна моя родная») с провидческим текстом о великой стройке Нового Иерусалима на милых зеленых лужайках Англии.

Как вы, наверное, слышали, весь год в Англии непрерывно лил дождь. Это был год, когда Альбион затопило. Вообще говоря, англичане лучше других готовы к подобной катастрофе. Все-таки нация мореплавателей. Поглядите на фасады домов: даже архитектурно они напоминают капитанский мостик, да и вся улица террасной застройки, то есть из двухэтажных домиков дверь в дверь, напоминает корабельные каюты. Двухэтажный автобус – это подобие теплохода с верхней и нижней палубами. Да и сам образ острова близок к идее ковчега, корабля. Так вот, предновогоднее ощущение было такое, что британский бриг пошел ко дну.

В газетах стали появляться одно за другим любопытные сообщения. Из патриотической газеты «Телеграф»

мы в эти апокалиптические дни узнали, например, что весь центр городка Рингвуд на реке Эвон превратился в озеро глубиной метра в два и что местный полицейский поймал на въезде в автопарк шестикилограммового лосося. Лосось двигался по главной улице на большой скорости прямо на красный свет, с угрозой, в первую очередь, для собственной жизни. Полицейский заботился не только о соблюдении правил уличного движения, но и о рыбе тоже. Лосось был выпущен обратно в реку Эвон. А вот в желудке трехметровой океанской трески, заплывшей на главную улицу Уитби (тот самый прибрежный рыболовный порт на востоке Англии, где в свое время высадился патриарх вампиризма граф Дракула), обнаружили человеческую голову, точнее, череп. Как этот предмет туда попал – загадка: треска, как известно, беззубая, как кит, но зато может вырасти до гигантских размеров. Видимо, человек этот тоже нарушил какие-то правила движения на жизненном пути. Вроде пророка Ионы.

Я вспомнил про своего любимого библейского персонажа не только потому, что Иону проглотила рыба (может, кит, а может, это была гигантская треска – комментаторы об этом молчат), когда его сбросили с парохода современности, чтобы утихомирить стихийное бедствие вокруг. Самый любопытный для нас момент состоит в том, что Иона был совершенно убежден, что буря на море началась именно из-за него, потому что он уклонялся от указаний Бога. В этом смысле Иона ничем не отличается от легендарных фанатиков XX столетия, от Сталина и Гитлера до иранских мулл. Все они считали, что напрямую общаются с Богом, и все были уверены, что Ниневия погрязла во зле, грехе и разврате и должна погибнуть ради светлого будущего избранной нации.

Для этого надо, естественно, обладать определенной степенью самоуверенности. Моя жизнь практически не изменилась за последние четверть века. Не потому, что я такой самоуглубленный. Просто я, как и

большинство из нас, не способен сделать никакого решительного шага. Мне говорят: слушайся внутреннего голоса. Как работник радиовещания я готов слушать любой голос. Но должно быть при этом ясно, говорит ли это твой внутренний голос, или же у тебя просто бурчит в желудке. И говорит ли этот голос с тобой или с кем-то еще. Бывает, начнешь этому голосу следовать, а на самом решительном повороте он пошлет тебя куда подальше. Поэтому те, кто верит в небеса, говорят: слушайся голоса Бога. Даже если поверить, что голос этот есть, он опять же из-за разных духовных шумелок и душевных глушилок путается со скандалом у соседей за стеной, непонятно к кому обращен, и пойдя пойми, когда, куда и с какой целью тебе идти. Древние греки по этому поводу молчат: у них на каждый случай был свой бог или решили они все проблемы киданием жребия, как, скажем, вопрос о том, чей бог виноват в буре, когда корабль идет ко дну?

Одни великие мечтатели и пророки сами были готовы утопиться за свою утопическую идею, а другие занимались, главным образом, тем, что топили других. Библейский Иона считал, что корабль тонет из-за него. Это умение всё, даже стихийные бедствия, принимать на свой счет. Иона верил, что вообще все на свете происходит из-за него, из-за его личных отношений с Богом. Это в чистом виде мания величия, прикрывающаяся заботой о человечестве и чувством вины. В психиатрии это называется диссимуляция: когда серьезный психический недуг больного прикрывается симптомами несерьезного нервного расстройства. Аналогично человек уклоняется от выполнения долга, делая вид, что страшно занят какой-то ерундой. А ерунду при этом выдает за крайне серьезное занятие. Именно так поступил Иона.

Поскольку речь идет о библейской истории, следует принять на веру, что Иона слышал не собственный внутренний голос, а некий глас свыше, «Глас Божий». Свыше было сказано: иди и пророчествуй падение Ниневии.

Так, во всяком случае, «послышалось» Ионе. И он от этих указаний решил уклониться. Сел на корабль и решил уплыть куда подальше. Мол, он занят, путешествует, оставьте меня в покое. Поднялась буря. Матросы не сразу выкинули Иону за борт, хотя Иона сразу признался в том, что уклоняется от божественной повинности. Они попытались выяснить то, что стал бы выяснять в этом случае любой добросовестный следователь или психиатр. Разыгралась ли буря из-за того, что Иона нарушил указание своего Бога или же из-за чьих-то еще проступков в отношении к совершенно иному богу? Был ли это глас Божий или это был внутренний голос самого Ионы? И если даже причина бури – гнев Бога Ионы, надо ли его вышвыривать за борт, чтобы наступило примирение с Богом и море стихло? Но Иона был уверен в том, что говорит. Матросам ничего не оставалось, как выбросить его за борт, и море действительно тут же успокоилось. (Что, впрочем, совершенно не доказывает правоту Ионы: море могло успокоиться по чистому совпадению.) Потом его проглотила гигантская рыба (кит или треска), он возопил к Богу, тот над ним сжалился, выбросил на сушу, и Иона скрепя сердце отправился в Ниневию пророчествовать.

Тут начинается самое любопытное. Ниневия не была уничтожена. Бог пожалел страну, где «сто двадцать тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой». И Иона «сильно огорчился этим и был раздражен». Получается, что Иона знал о милосердии Бога и подозревал заранее, что Ниневия уцелеет. А он окажется в дураках как ложный пророк. Он знал, что он прирется в Ниневию, будет орать страшным голосом, посыпать голову пеплом, все ему поверят, тоже будут посыпать голову пеплом (так и произошло, собственно), но никакой гибели Ниневии не последует. Бог сжалится над раскаявшимся народом. В заключение этой истории Иона оказался посрамленным в глазах непредсказуемого милосердного Бога.

Но мало кто отдает себе отчет, что история, собственно, не о том, как вредно уклоняться от божественных указаний. История эта о том, как вредно понимать божественные указания с излишним рвением. В тексте Библии говорится о том, что сведения об ужасающем моральном облике Ниневии дошли до Бога. И он сказал Ионе: «Встань и иди в Ниневию – город великий и проповедуй в нем». Никаких точных указаний о том, что он должен был проповедовать, не было. Не было сказано, что он должен был пророчествовать о гибели Ниневии. Об этом ни слова не говорится. Это Иона сам так понял. Потому что считал себя пророком. Он спутал роль проповедника и пророка. Его направили в Ниневию как пропагандиста из райцентра, а он решил, что он представитель военного трибунала.

Иона не лишен был пророческого видения, дара прорицателя: он действительно знал, что Ниневия не погибнет, что Бог милостив, что правда восторжествует, несмотря на падение морали среди населения. Но вместо того, чтобы поверить своей интуиции, внутреннему голосу, сердцу, кишкам, он возомнил себя пророком, которого отправляют в издевательскую командировку с фальшивыми посылками. В результате он и закончил свои дни в гордом одиночестве под палящим солнцем пустыни. С таким же успехом он мог закончить свои дни вроде меня, в гордом одиночестве, как заяц без дедушки Мазая, на затопленном Альбионе.

Пока никто не взял на себя личной ответственности за недавние наводнения. Кстати сказать, треска в нашем регионе на грани вымирания, так что Европейское Сообщество издает декрет о приостановке ловли этой рыбы. Это увеличит в третьем тысячелетии мои шансы на спасение, если меня сбросят с корабля прошлого в морскую пучину современности.

Утопические жесты

Я до последнего времени наивно полагал, что лейтмотив моей жизни и творчества – пушкинская цитата про упоение в бою, и мрачной бездны на краю из «Пира во время чумы». И действительно: главный герой всех моих шести романов – эмигрант, изгнанник, человек, выпрыгнувший из чумной телеги российского пира 70-х годов в бездну западной свободы. Такой герой – постоянно «на краю»: зажатый меж двух миров, закомплексованный меж двух языков. Чтобы прорваться обратно к самому себе сквозь железный занавес прошлого, этот герой постоянно прибегает к крайностям и в байроновском духе рискует собственной жизнью и жизнью своих близких. А поскольку в природе гениальных романистов (всякий романист считает себя гением) подтверждать поступками истинность выдуманных слов, я сам уже давно стал загонять себя в обстоятельства, провоцирующие на жесты, достойные лишь моих героев.

В первую очередь это выражается в тяге к ситуациям, сулящим катастрофы, к байронической игре со смертью. Эта вредная привычка обнаружилась, собственно, задолго до эмиграции, еще в детстве, во время болезни: я, лежа в постели, от нечего делать подбрасывал в воздух и ловил на лету блестящий металлический шарик из подшипника (подарок друга). В очередной раз шарик пролетел сквозь пальцы. Прямо в лоб. Оказа-

лось, что не больно, просто вытекло много крови, но можно себе представить, что творилось с мамой. Теперь у меня на лбу каинова отметина, а в мозгах, видимо, что-то сдвинулось. Как бы закрепляя этот детский опыт, я, уже в эмиграции, однажды на пароме поскользнулся, сбегая по трапу с верхней палубы, и раскрыл себе череп уже с затылка. О моем здоровье справлялся сам капитан. Приехав однажды с очередным визитом в Москву, я слег с инфекционным воспалением легких и чуть не умер; споры о том, как меня лечить, привели к нескольким разводам в семьях моих друзей. Я бы мог еще долго пересказывать аналогичные эпизоды моей творческой деятельности. За недостатком места (опять не хватает места под солнцем) ограничусь самым последним.

На какой бы курорт я ни попал, там непременно начинается буря. На Корсике прошлой осенью, когда ни с того ни с сего задул страшный ветер с моря, меня захлестнуло волной, перехватило дыхание – ни вздохнуть, ни выдохнуть – я потерял сознание и пошел ко дну. Так погиб друг Байрона, поэт Шелли. Но я не Шелли, я другой. Моя последняя мысль была: «Вот она, бездонная пропасть западной свободы: испортил жене отпуск!» Вытаскивали спасатели с канатом. Очнулся я уже на берегу, весь белый, с синими ногтями. Меня приводили в чувство в местной клинике со всеми больничными причинами: с капельницей и кислородной подушкой. Жуть.

Казалось бы, все эти встречи со смертью лицом к лицу должны были решительно изменить мою судьбу, заставить меня по-новому взглянуть на собственное прошлое. Но выясняется, что обещания, данные под угрозой расстрела, забываются так же быстро, как зубная боль. Я помню, как на грани смерти от воспаления легких давал себе клятвы раз и навсегда порвать со всем ничтожным и недостойным в моей жизни и отдать всего себя лишь высокому, великому, чистому. Но стоило мне чуть поправиться и вернуться в Лондон, как я тут же предался все той же вульгарной светской суете, недо-

стойной истинного гения. Я помню, что на Корсике я очнулся на берегу от собственных жутких криков: в этих воплях я пытался снова «выкричать» из себя, как мне кажется, все низкое и ничтожное во мне.

Стоило мне, однако, прийти в себя и вернуться в гостиницу, как я тут же устроил скандал: пропала моя любимая шариковая авторучка – она явно выпала из кармана, когда подбирали мои джинсы на пляже. У меня особые отношения с собственным почерком, и потеря авторучки была для меня не меньшей травмой, чем отсутствие соломинки у утопающего. (Так еврейская мамаша из старого анекдота, поблагодарив спасателя за то, что тот вытащил из воды ее малютку дочь, интересуется: а не подобрал он в море еще и ее резиновую шапочку?) Мне срочно надо было зафиксировать на бумаге то, что со мной произошло. Но ведь лишь за час до этого я был уже на том свете, где не имеет значения, какой авторучкой я запишу, как и почему я туда попал. Какой смысл вообще записывать то, что не появилось бы на бумаге, если бы я не выжил?

Я хочу сказать, что если бы я умер, все, что я записываю сейчас, не существовало бы. И мир от этого ничуть бы не пострадал. Этим слов могло бы и не быть. А если их могло бы и не быть, если в них нет насущной необходимости, зачем их записывать? Все происходило бы точно так же, как если бы этих слов не было. Я могу засвидетельствовать это, потому что я остался жив. Получается, что в моей смерти нет насущной необходимости. Моя возможная смерть никому не помогла жить. И слова об этой гипотетической кончине – тоже: поскольку их могло бы и не быть.

Эти мои теперешние слова принадлежат, однако, не тому, кто тонул, а тому, кто выжил. Все эти личные амбиции, совестливые метания, все эти великие обеты и заветы кажутся чужими, как только возвращаешься к жизни: погибал один человек, а выжил – другой. И этот другой смотрит на то, что произошло, как на симуля-

цию самоубийства себя в прошлом в связи со случайно представившейся возможностью. Это как патологические изменения в поведении алкоголика после первой же рюмки водки: себя другого он уже не помнит. Или же этот буйан пытается привлечь внимание к тому тихоне внутри себя, кто утонул в первой же рюмке водки?

И тут я понял: все эти творческие усилия и байроническая игра у бездны на краю – не что иное, как попытка привлечь внимание к себе гибнущему. Внимание мамы, жены, капитана. Передовой общественности. Высшего существа. Литературного журнала. О других великих мертвецах, мол, говорят, а обо мне – ни слова. В конце концов, ведь Корсика – это родина Наполеона. Как только я оказался на Корсике, Наполеон тут же стал моим конкурентом – в смысле репутации среди местного населения. Я своим «утопическим» жестом добился того, что хотел: все в этом курортном местечке на Корсике стали говорить обо мне.

Я забыл, однако, что у славы, как у всякой медали, есть своя оборотная сторона: имя Наполеона лучше на его родине – на Корсике – не упоминать: он как-никак продал этот независимый остров французской империи. А за это на Корсике можно и по морде схлопотать. А могут и утопить: меня – не того, кто уже один раз чуть не утонул, а того, кто выжил.

За тех, кто в пути

Добираться из одной точки земного шара в наши дни все сложнее и сложнее. Многие отпраздновали Новый год в пути, не успев добраться вовремя до дружеского застолья. Особенно часто попадают в подобные ситуации эмигранты: каждый Новый год напоминает им, сколько лет назад они расплевались с собственной родиной, с прежним кругом друзей. Став однажды безродными космополитами, эти перекаати-поле уже не могут остановиться, и отмечают каждый Новый год в новом месте. Пресытившийся ум вечного путешественника мечется в выборе, но новых стран на карте мира с годами становится все меньше.

Гурманам помогает в выборе новых точек страсть к кулинарной экзотике. Какие только страны и блюда не перепробовал Александр Дольберг с тех пор, как в хрущевские времена, студентом Московского университета, он сел на метро в Восточном Берлине, переехал в Западный (Берлинской стены тогда еще не было) и попросил там политического убежища. «Этот проститутка Дольберг!» – отозвался о нем Хрущев. Истинный гурман действительно не может хранить верность одному блюду в принципе.

Отмечая конец второго тысячелетия, Дольберг оказался в богом забытой мексиканской деревушке. В этом месте, по слухам, готовили невероятным способом ди-

кого кабана с особым экзотическим острым соусом. Время приближалось к полуночи, когда Дольберг добрался до главной площади, где стоял мангал с этим самым ве-прем. Вокруг него толпились местные. Они отрезали по куску мяса, куда-то макали и энергично жевали. Периодически они загадочным образом похлопывали себя ладонью вокруг рта. Когда Дольберг приблизился, он понял, в чем дело: рядом с вертелом стояла огромная миска – в ней шевелилась куча огромных живых муравьев. Вместо острой приправы мясо макали в миску с муравьями. Когда незадачливый муравей выползал изо рта, его загоняли обратно хлопком ладони.

Дольберга стало тошнить. Сортир располагался наверху, куда нужно было взбежать по шаткой лестнице. Закончив ритуал, он спустил воду и попытался открыть дверь. Дверь не открывалась. Ручки в двери не было. В этом момент унитаза стал переполняться. Все шло обратно. Дольберг встал на унитаз и высунулся из окна. Стал звать на помощь. Но как только он залез на стульчак, вся сортирная будка стала раскачиваться. Что-то треснуло. Пол перекосялся. Когда он высунулся из окна, он увидел, что хлипкая сортирная постройка нависает над одноколеской. И тут он услышал гудок паровоза. И стук колес. Приближался поезд. Дольбергу представилось, как вместе с унитазом и его содержимым он летит вниз, под колеса поезда. Сплошной фрейдизм.

Впервые в жизни он задумался: «А стоило ли так рваться на Запад?» Но мы задаем существенные вопросы лишь тогда, когда ответы на них уже невозможно услышать. В случае с Дольбергом из-за перекошенности помещения сортира дверь открылась сама. Он вовремя успел к новогоднему мексиканскому столу с диким кабаном и муравьями. Из двух нулей в двухтысячные годы. Выпьем за тех, кто был заперт под Новый год в сортире.

Право на ошибку

Всякий раз подводя итоги уходящего года, мы подсчитываем наши поражения и победы. Мы пытаемся разрешить загадку, как, каким образом, лучший друг за год превратился просто в знакомого – в общем-то постороннего человека, а бывшая любовь всей прошедшей жизни даже не удосужилась поздравить с Новым годом. Так люди перестают узнавать себя после насильственных революций, добровольной эмиграции или, скажем, ухода на пенсию. Но исторические катаклизмы не обязательны. Еще месяц назад казалось, что ты неразлучен с этим человеком и связь эта – на всю жизнь. И вдруг тебе говорят: все прошло, кончилось, «я больше ничего не чувствую». И ты понимаешь: любовные письма возвращают друг другу не из-за боязни шантажа в будущем, а потому что слова этих писем больше ничего не означают. Эти слова были написаны другим человеком, и написаны были не тому, кто их сейчас перечитывает.

Оказывается, кончается не только советская власть. Мы этого раньше не знали. Мы не знали, что люди меняются. Отделяются и уходят в отдельную комнату, в другую жизнь. Ты, мол, конечно, самый близкий из всех чужих, но мы уже давно каждый за себя. Любовь прошла. И с какой-то детской ревностью мы поворачиваемся к прошлой близости спиной: ах, если так, если мы уже не любовники, ты сама по себе, а я сам по себе, то и вооб-

ще нечего общаться, переписка заканчивается, почта закрывается, телефон отключен! Мол, если мы за частную эмоциональную собственность, то и все общее надо с корнем уничтожать, вымарывать свидетельства прежней общности черными чернилами и сжигать в печке-буржуйке.

Как же так? Совсем ведь недавно друг друга любили. А ныне? «Мы просто знакомы». Как странно. В ответ слышишь, что никто тебе изменять не собирался. Никто не планировал никакой измены. Просто произошла другая встреча, не узнанная вначале как любовь. Вначале все продолжали делать вид, что ничего не происходит. Но с каждым днем ему становилось все яснее: это именно то, о чем мечтал всю жизнь. И под влиянием этого человек стал другим и уже не отвечает за того, кто был связан с тобой, казалось бы, на всю жизнь. Это не предательство: тот, кто любил, останется в памяти неизменным; тот, кто обрел иную любовь, не хочет от тебя эту новую любовь скрывать.

Книга-исповедь кардинала Ньюмана «*Apologia Pro Vita Sua*» стала настольной для всех тех, кто постепенно оказался в рядах врага не как сознательный предатель, а как человек, постепенно меняющий свои убеждения. Джон Генри Ньюман (1801–1890) был английским теологом, властителем умов оксфордской элиты, всех тех, кто в благополучную Викторианскую эпоху поставил под сомнение постулаты англиканской церкви, то есть английский образ жизни. С тех пор как Альбион откололся от Ватикана (когда Папа Римский отказал Генриху Восьмому в праве на развод), гонимые католики в Англии постепенно приобретали репутацию врагов народа (с мнимыми и реальными заговорами по свержению английской монархии). Свободомыслящий английский скептик-протестант вообще не способен смириться с идеей некой божественной осиянности какого бы то ни было чиновника, святости клерикала в сутане, и поэтому католическая доктрина о папской непогрешимости в глазах англичан

ничем не отличается от варварского слепого идолопоклонства или сатанинского культа. Образ – прямо из советских учебников по антирелигиозной пропаганде.

С другой стороны, католичество, из-за своей связи с Европой, было всегда неким запретным плодом для интеллектуальной фронды, кто предпочитал метафизику европейского космополитизма дешевому британскому патриотизму под виски с элем. Дело дошло до того, что к 30-м годам XX столетия, перед Второй мировой, отщепенство вошло в моду до такой степени, что если ты не коммунист или еврей, ты просто обязан был стать хотя бы католиком – иначе о чем с тобой разговаривать в салоне Блумсбери?

Столпы англиканской церкви обвиняли Ньюмана в том, что он, давно, мол, зная о своем католичестве, продолжал, в должности англиканского священника, смущать умы и совращать в римско-католическую веру свою паству. Он же утверждал, что до того, как осознал свои взгляды как римско-католические, считал, что просто-напросто принимает участие в реформации своей англиканской веры. Он соглашается со своими противниками, что действительно на каком-то этапе он начал подозревать, что его теологические изыскания заводят его в стан католиков. Но он не был уверен в собственных окончательных выводах и поэтому не мог объявить во всеуслышание о своих тайных и явных догадках, которые были неясны ему самому.

На каком-то этапе он не говорил всю правду, потому что не был уверен, в какой степени «полная» правда не окажется ложью. «Полной» правды просто не было. По своим взглядам он действительно уже был католиком, но свой католицизм он не считал римско-католическим, скорее – про-англиканским, но антипротестантским. Да, действительно, ретроспективно, когда он уже стал католиком, он смог нащупать нити, связывающие его с католицизмом, чуть ли не с самого детства. Но вся эта картина закономерной логики религиозной трансформации

возникла лишь постфактум. Короче говоря, человек, ставший другим, не может отвечать за того, кем он был и кем быть перестал.

Джон Ньюман до конца жизни не уставал оправдываться перед прежними друзьями и соратниками. Ньюман начинал с реформаторских (точнее, антиреформаторских) идей по освобождению английского христианства от теологически ошибочных концепций и вульгаризмов. Постепенно он пришел к выводу, что истинное, с его точки зрения, христианство ничем не отличается от римско-католической доктрины. А значит: или же англиканская церковь должна вернуться в лоно католицизма, или же сам Ньюман должен стать католиком. Англиканская церковь советам Ньюмана не последовала. Поэтому Ньюману ничего не оставалось, как перейти дорогу и из англиканского священника стать католическим, за что он в конце концов и удостоился титула кардинала. В сущности, небезызвестный нам Шигалев из «Бесов» Достоевского именно так и мыслил: начал с идеи абсолютной свободы, а закончил абсолютной тиранией, ни на секунду не поступившись ни логикой, ни совестью.

Нужно сказать, что кардиналу Ньюману не удалось сохранить друзей ни в том, ни в другом стане. В Ватикане кардинал Ньюман своим не стал. Кому нужен был этот английский интеллектual с его теологическими ухищрениями по примирению английского трона с папским престолом? В родной же Англии Джон Ньюман стал чужим среди своих. Это – проблема промежуточности. От нас требуют полной определенности. От нас требуют окончательного выбора и ответов на анкетные вопросы. А он настаивал на своей промежуточности как принципе мышления. И возвел эту неопределенность в некую философию права на ошибку.

Потерявшие голову

Иконоборчество, разрушение идолов – одно из традиционных увлечений простого народа в Англии. В эпоху пуританской революции под предводительством Кромвеля воинствующие протестанты из пролетариев уничтожили практически все фрески, алтарную живопись и скульптуру в английских церквях по всей стране. Обычно языческие предрассудки и верования приписывают простолюдинам. Это не всегда и не совсем так. Простой человек всегда тянется к единому Богу, к одной заветной мечте, к цельной правде. Все, что мешает этому монотеистическому видению, подлежит уничтожению. Талибы стреляли прямой наводкой из артиллерийских стволов по скульптурам Будды в Афганистане. Памятник Дзержинскому или монумент Сталину не должен мозолить нам глаза, когда вся страна марширует в светлое будущее демократизации и либеральных свобод. Эти монументы надо взорвать. Идолы марксизма-ленинизма не сочетаются с современной ситуацией и поэтому им надо поотрывать головы. В буквальном смысле слова: перед тем, как начать громить шедевры церковной живописи и скульптуры, Кромвель отрубил голову королю. Но и в переносном смысле эта тенденция отрывания голов переносится на идолов прежнего режима: в городе Калининграде, бывшем Кенигсберге, когда-то столице Восточной Пруссии, у всех монументов прусского про-

шлого народ поотбивал головы – это город, потерявший свою голову. Гильотину и упоминать не хочется.

Все это я вам рассказываю в качестве исторической подоплеку недавнего лондонского события: «железной леди» Маргарет Татчер снесли голову. Я имею в виду ее новый скульптурный портрет во весь рост в здании Лондонских гильдий. При этом вандал, долбанувший кайлом по скульптуре, почему-то не отбил натуралистически изображенную в камне сумочку, свисающую с ее локтя. Эта сумочка, столь популярная среди английских домашних хозяек лет шестидесяти в той же степени, в какой платок на голове у королевы, была ее «паспортом в народ». Именно по этой сумочке и можно было сразу узнать бывшую премьершу, даже если бы у нее отсутствовала голова.

«Железная леди» без головы стала похожей на греческую богиню. В нашей памяти вообще вся Древняя Греция – это скульптуры богов без головы. Мы их узнаем по каким-то другим атрибутам. Как, скажем, мы узнаем библейского Моисея по его змеевидному жезлу. Трудно не узнать Ленина, если у памятника без головы тем не менее уцелела рука, устремленная в светлое будущее. Но с другой стороны, в том же Калининграде Ленин стоит на главной площади, сжав руку в кулак со всей решимостью где-то пониже живота. Если у него отбить голову, он станет, скорее, похож на Гитлера, обычно изображенного на портретах с руками, скрещенными именно там, между ног, как будто его неожиданно застали в голом виде. С другой стороны, Маркса с отбитой головой вряд ли кто узнает: во всяком случае мне практически неизвестен ни один скульптурный портрет Маркса в полный рост. По каким-то причинам это – всегда бюст. Ну до пояса иногда. Может быть, для того, чтобы скрыть следы обрезания?

Не уверен насчет следов обрезания, но вот плаценту (то есть, говоря по-русски, «детское место» или «послед» новорожденного) употребляет в своих биоскульп-

турах лондонец Марк Куин. Знаменит он своим головным автопортретом, изготовленным из замороженных четырех литров его собственной крови: он ее выдавливал по каплям с этой целью на протяжении года. «Кровавый» шедевр был куплен знаменитым коллекционером Саатчи и хранился в его собственном доме, в специальном холодильнике, само собой. Любопытное совпадение: фирма Саатчи в свое время проводила рекламную предвыборную кампанию той же Маргарет Тэтчер. Может быть, поэтому голова Марка Куина стала тоже на днях жертвой вандалов из иконоборцев и борцов с идолами пролетарского происхождения. Мечь пришла неожиданным образом. В связи с капитальным ремонтом нового, только что купленного дома Саатчи строители должны были отодвинуть холодильник от стены и временно отключили его. Через пару часов от головного автопортрета осталась лужа крови.

Пикантный аспект всей этой истории в том, что дом был куплен в связи с браком Саатчи на самом модном авторе кулинарной литературы и телепередач, Найджеле Лоусон. Поскольку «кровавая голова» хранилась у них в доме в холодильнике, этот предмет по своему статусу перестал отличаться в сознании хозяев от «кровавой колбасы». Канныализм вообще в сердце («сердце кровью обливается») нашей христианской цивилизации: от поговорок вроде «он мне плешь проел» или «себя поедом ест» до ритуала причастия, где облатка – тело Христово.

Брак кулинара с коллекционером поэтому тоже крайне симптоматичен. Дело в том, что от кулинарии (или канниализма) до искусства в наше время – один шаг. Собственно русские, как всегда, во всем были первыми: это ведь еще эмигрант Сутин систематически изображал освежеванные туши, источающие кровь. Главный специалист по разделыванию говядины в нашу эпоху – *enfant terrible* британского арт-мира Демьян Хёрст. Он, как известно, автор концептуальных проектов с разрезанными тушами коров под стеклом в форма-

лине (заодно с овечкой и акулой-людоедом). Не так давно Демьян Хёрст сделал еще один шаг в этом направлении – и открыл свой ресторан. Ресторан называется «Quo Vadis» (в переводе с латинского – это библейское «Камо грядеши»), что возвращает нас к библейской подоплеке борьбы с идолопоклонством и современным искусством.

Чтобы оценить богохульственную смелость российских прозаиков моего поколения, надо осознавать сталинизм как религию, а Сталина как бога. Однако в Англии, в отличие, скажем, от Германии, не было традиции соцреалистического романа. И поэтому пародия на советскую ритуальность сознания воспринимается не как богохульство, а лишь как гаерство. Все готические аспекты советской истории тут непонятны. Нацистские фуражки, сапоги и шинели – не более чем отживший антураж ночных гомосексуальных клубов. А вот чекистские кожаные куртки, брошенные в угол, ни у кого не вызывают в Англии двусмысленной улыбки. Когда британский зритель смотрит в старинной хронике на членов Политбюро, чья нижняя половина тела скрыта трибуной Мавзолея, никому, в отличие от моего читателя, не приходит в голову спросить: а чем тайно занимается их левая рука, пока правая поднята в приветствии? И что делал Сталин с Лениным, когда они лежали, как муж и жена, рядышком, две мумии, пока Сталина не вытурили из Мавзолея честные ленинисты? И какие части их тела были натуральные, а какие – искусственные, какие свои, а какие – из запасника, из того самого легендарного аквариума, где в формалине (как в произведениях авангардиста Демьяна Хёрста) плавают якобы все составные части марксизма, не исключая, естественно, и половые органы.

Просвещая на эту тему своих собеседников в пабе «Сэр Ричард Стил», я узнал и кое-какие подробности английской истории. Оказывается, тело адмирала Нельсона, потерявшего в сражении руку и один глаз и убитого

во время битвы при Трафальгаре, доставили на родину морским путем, сохраняя его в роме. Путешествие длилось несколько недель и, как утверждают знатоки у барной стойки, матросы отцеживали этот ром всю дорогу, и уже когда подплывали к берегам Англии, им пришлось выжимать остатки по капле. Те же источники утверждают, что аналогичным образом переправлялись на родину гениталии Наполеона. Отсюда и пошло название коньяка «Наполеон». С Гитлером такое бренди не выдумашь: у него было одно яйцо. Так что выпьем за родину, выпьем за Сталина.

Я побывал в Сицилии. Я видел Этну. В жерло этого вулкана, как известно, бросился древнегреческий философ Эмпедокл. Он пытался доказать, что ничем не отличается от Бога, и твердо верил в собственное бессмертие. Он, действительно, обеспечил бессмертие собственному имени. Можно лишь догадываться, что стало с его телом в жерле вулкана. У Эмпедокла была своя теория происхождения видов и человеческого тела, в чем-то похожая на дарвинизм. В древние времена, согласно Эмпедоклу, по всей земле были рассеяны самые разнообразные телесные формы человекообразных существ: например, с головой, но без шеи и без плеч, с глазами, но без ушей, с руками без пальцев, торсами без ног – разрозненные части тела, случайно соединяющиеся друг с другом в произвольном порядке. Были существа с несколькими головами, или с женской грудью, расположенной по разные стороны тела; были и существа с телом быка и лицом человека, или с телом человека и головой лошади. Но в конце концов лишь знакомая всем нам человеческая форма тела оказалась победительницей в этом конкурсе на выживание.

Эту теорию Эмпедокла о рыночном обмене и соперничестве между разными частями тела можно распространить и на монументы. Взгляните, что произошло с монументами прошлого и настоящего, от падения Римской

империи до развала Советского Союза. В разных частях мира разбросаны памятники и монументы рухнувших цивилизаций – как некие уроды, выродки, инвалиды – с обломанными руками, с отломанными носами, вообще без головы или на одной ноге ветерана пунических войн. В одном конце света может валяться рука статуи, сброшенной на свалку истории в другой части земного шара. Голова под стеклом может принадлежать бывшему герою, чей торс покоится на дне моря. Соединятся ли они когда-нибудь вновь, и в какой невероятной комбинации? Возможно ли воссоздать утерянное прошлое из запчастей, разбросанных по всему свету?

Нечто подобное происходит с мощами святых в некоторых церковных общинах: ухо одного святого обменивают на палец другого, где-то выискивают глаз, выписывают кусок кожи с другого конца света. Что за монстр возникает в конце концов, трудно сказать: нечто вроде «зайца с рогами из музея охотничьих трофеев», как выразился философ Александр Зиновьев про нынешнюю Россию.

Проблема довольно актуальная, поскольку прошлое постоянно пересматривается, и вместе с этим – наше отношение к памятникам этого прошлого. В Берлине решили восстановить статую Ленина 70-х годов высотой в двадцать с лишним метров, чья голова весила три с половиной тонны. Полтора десятка лет назад площадь Ленина в Восточном Берлине переименовали в площадь Объединенных наций, а гранитного вождя стащили с пьедестала, распилили на сто двадцать пять кусков и зарыли в яме с песком в лесах под Берлином. Но энтузиасты советского прошлого разыскали это культовое захоронение и отпиливали от статуи кусочки для сувениров. Недавно, в связи с идеей охраны памятников прошлого, эпохальный монумент решили восстановить. Отрыли сто двадцать четыре куска. Сто двадцать пятый куда-то запропастился. Выяснилось, что у гранитного Ленина не хватает одного уха.

Представьте себе Ленина с рукой, указующей в светлое будущее, но без уха. Я уже давно предлагал использовать Ленина с поднятой рукой как указатель к стоянке такси. Но тут, с отрезанным ухом, он, скорее, машет, чтобы остановить карету «скорой помощи». С другой стороны, историки сообщают, что у Ленина был безупречный музыкальный слух и он был одним из первых, кто приветствовал изобретение нового электронно-магнитного музыкального инструмента, терменвокса, придуманного физиком Львом Терменом, – звук возникает, когда вблизи этого аппарата совершают движения руками в воздухе. Может быть, Ленин с памятника вовсе не указывает в будущее, а музицирует на невидимом терменвоксе – символе социализма плюс электрификации всей страны? Но для нас, постмодернистов, это отрезанное ухо связывает его образ с еще одним гением – жертвой той же революционной эпохи – Ван Гогом. Не хватает кисточки в ленинской поднятой руке.

Есть разные теории, почему голландец Ван Гог отрезал себе ухо. Самая фрейдистская из всех версий говорит нам, что этот акт самоувечья носит в себе подавленный гомосексуальный характер и был спровоцирован присутствием Гогена – гостя и соперника Ван Гога в Арле. Ухо – это, само собой, фаллический символ (голландское жаргонное словечко «lul» означает пенис, а похожее «lel» это ухо). Согласно еще одной интерпретации, на Ван Гога производил огромное впечатление бой быков в Арле. Матадор в качестве награды получал ухо убитого им быка, демонстрировал его толпе зрителей и затем вручал это отрезанное ухо даме своего сердца – по выбору. Помешавшийся Ван Гог отождествлял себя в своем сознании и с быком, и с матадором, в то время как «дамой» его сердца оказался в его больном воображении все тот же Гоген. Кто мог бы подменить Гогена для Ленина с отрезанным ухом? Сталин? Оба ведь лежали бок о бок в Мавзолее. Так или иначе, берлинский гранитный Ленин без уха явно требует дополнительного скульптурного элемента – по-

вязки, вроде кухонного полотенца, вокруг головы, как на знаменитом портрете Ван Гога с отрезанным ухом. Чтобы не слышать, что ему нашептывает Сталин.

Смысл и значение отдельной части тела, ее роль в общем облике монумента, меняется в зависимости от эпохи, исторической перспективы и окружающей обстановки. Лишь взглянув новыми глазами на статую Саддама Хусейна – после вторжения союзников в Ирак, – я увидел, насколько своими усами он похож на Сталина. Но еще и на «голубых» из клубов лондонского Сохо: есть такая мода в определенных гомосексуальных кругах – сталинского типа усы у штурмовиков-патриотов с легкой небритостью. Теперь я понимаю, почему в некоторых барах в Сохо я чувствую ностальгию по советскому детству. Но сходство обманчиво. Если вы стоите спиной ко входу в Букингемский дворец в Лондоне, то перед вами – монумент королевы Виктории в центре. Слева от ее фигуры – мраморная гигантесса-женщина, а справа – мускулистый мужчина из того же материала. Женщина держит в руках серп, а мужчина – молот. И тем не менее, никому не придет в голову сравнивать эту пролетарскую пару со скульптурой рабочего и колхозницы перед входом на ВДНХ. Окружение иное. Другие исторические обстоятельства.

Вглядитесь в памятник Пушкину в Москве в центре небезызвестной площади. Поэт держит правую руку на груди, под лацканом сюртука, у сердца, так сказать, в задумчивой позе сочувствия и милости к падшим. Но этот скульптурный жест стал восприниматься по-другому в ту эпоху, когда прямо через площадь, перед Пушкиным, построили первый в Москве «Макдоналдс» – с длиннющей, когда-то, очередь перед входом. Рука Пушкина в ту эпоху явно тянулась не к сердцу, а к нагрудному карману – за кошельком. А Маяковский на площади Маяковского выбрасывал руку вверх в ту же революционную эпоху перестройки, как живой с живыми говоря, не в ходе поэтической декламации, как казалось раньше, а указывал на рекламу Panasonic у него слева над рестораном «Пекин».

Всякая революция – и русская революция тем более – разрушает границы реальности, превращает зрительный зал в подмостки, не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. И в этом смысле Ленин, толкнувший в жерло вулкана революции всю страну, похож не на Эмпедокла (заботившегося лишь о доказательстве личного бессмертия), а на еще одного великого сына Сицилии – драматурга Луиджи Пиранделло. Пиранделло стал лауреатом Нобелевской премии именно за новаторство в искусстве драмы, убрав границу между залом и сценой. Ленин и Пиранделло были современниками, – были схожи даже идеологически – в экстремизме своих взглядов: Ленин был большевиком, в то время как Пиранделло исповедовал идеологию итальянского фашизма. Но, как сообщил мне мой итальянский друг, сходство этим не ограничивалось.

Дом-музей Пиранделло в Сицилии – место паломничества туристов-пиранделлистов со всего мира. Недавно местный горсовет решил наконец-то воздвигнуть скульптуру Пиранделло перед его домом. Однако горсовет – как все горсоветы в Италии – социалистический; денег на новый монумент этому фашистскому гению стало жалко. Исторические обстоятельства, однако, обязывают. Было решено подыскать что-нибудь подходящее на складе, где хранились отжившие свой век образцы монументального искусства. С падением коммунизма во всем мире на местный склад попали и несколько скульптур Ленина. Нашелся экземпляр мраморного вождя революции, где руки аккуратно вытянуты по швам – без истерических указаний на светлое будущее. Вид у этого Ленина был вполне джентльменский: в шляпе и с бородкой. И при этом – поразительное внешнее сходство с Пиранделло. Ну как две капли воды (то есть мрамора). Не хватало только Пиранделловской трости. Ее пришлось отломать от какого-то еще скульптурного реликта. Запчастей на складе истории в наше время навалом.

В поисках категорического императива

Все, что связано с Калининградом, бывшим Кенигсбергом, не однозначно. Даже английский путеводитель по Калининграду, единственный из доступных в Лондоне, это перевод с немецкого. У этого города, где родился, жил и умер великий мыслитель Иммануил Кант, до последнего десятилетия вообще не могло быть географии: военно-морская база коммунистической державы должна существовать на карте лишь номинально, угрожая при этом всему остальному миру вполне физически. Кант всю жизнь провел, пытаясь преодолеть аналогичную раздвоенность на душевное и телесное, на идею и материю, на высокое и низкое, на эмоции и чувство долга. Он нашел ответ в категорическом императиве. Ответа я не нашел, но нашел новых замечательных собутыльников в районе могилы Иммануила Канта.

Началось все это из-за очередного не очень трезвого спора в нашем местном пабе «Сэр Ричард Стил» с Джимом, начинающим писателем, с пятидесятилетним стажем, местным классиком. Он, правда, пока ничего не написал, потому что все время тратит на чтение. Он изучает популярную историю философии Бертрانا Рассела и разъясняет всем идею трансцендентальности Иммануила Канта на примере с кружкой пива.

Мы знаем, что есть пиво, и знаем, что есть кружка. Понятие «пинта пива» – это одновременно и количест-

во жидкости, которая находится в кружке (материальное, так сказать, наполнение некой стеклянной емкости), и некая идея, связанная с времяпрепровождением у стойки бара. Это и есть не простая, а трансцендентальная кружка пива. Я возразил, что хотя логически эта иллюстрация трансцендентальности в виде кружки пива очень поучительна, но далеко не в духе самого Канта: из разных мемуаров следует, что мыслитель терпеть не мог пива, считал его медленно действующим ядом. Об этом сообщает Томас де Квинси, который сам предпочитал опиум. Я тоже пиву предпочитаю виски или водку.

Этот внутренний конфликт между водкой и пивом (водка на пиво, человек – диво, и т. д.) в связи с именем Канта отразился и на современной истории его родного города. Пока Королевские военно-воздушные силы Великобритании в августе 1944 сравнивали с землей средневековую часть Кенигсберга – собор, замок, университет Альбертина, – советские танки уничтожали местную индустрию. Уничтожено было все, даже канализация. Кроме вино-водочного завода. Оставшиеся в живых немцы, все как один, были объявлены сторонниками пивных путчей, посажены на товарные поезда и вывезены в степи Восточной Пруссии, а их дома заняты переселенцами из советских республик. Переименованный в Калининград и сделавшийся советской военно-морской базой, бывший прусский Кенигсберг стал производить лучшую водку в России под названием «Флагман».

Первыми, кто убедился в эффективности водки в сравнении с пивом, была супружеская пара бегемотов – Ганс и Ханна – из легендарного кенигсбергского зоопарка. После вступления советских войск в городе, знаменитом своими кенигсбергскими марципанами, начался массовый голод и каннибализм. Животных из зоопарка, естественно, съели: осталась в живых пара бегемотов и канарейка – птица, привыкшая к клеточной жизни. Но бегемот впал в меланхолию, затосковал и перестал есть. Тут-то советские солдаты и стали отпаивать его водкой:

по четыре литра в день. Через две недели бегемот восстановил аппетит не только к пище, но и к сексу. Ганс и Ханна наплодили такое количество бегемотиков, что их расселили чуть ли не по всем зоопаркам Советского Союза. Кое-кто из бегемотов, не сомневаюсь, попал даже в Политбюро.

Простой народ любит распить бутылочку на могилке. В советские времена молодожены отправлялись после регистрации на могилу Неизвестного Солдата, чтобы как-то приобщиться к чему-то идеальному. В нашу философскую эпоху эту функцию выполняет могила мало кому известного Канта. Точнее, неизвестная могила Канта. Дело в том, что останки Канта переносили как минимум три раза – из дома в могилу, из университетского кладбища к стене собора, из могилы в саркофаг. Саркофаг вскрывали нацисты, чтобы удостовериться по форме черепа в его арийском происхождении, а потом и советские, чтобы понять, есть ли тут френологические связи с черепом Ленина. Не исключены и акты вандализма. Кое-кто из знатоков этих мест сообщил мне, что видел даже фото 50-х годов с тремя советскими матросами в саркофаге с бутылкой водки в руках. Это они, видимо, пытались утвердить кантианскую традицию негативного отношения к пиву и трансцендентального – к водке.

Дело в том, что сам процесс опьянения водкой приближается к постепенному выходу в трансцендентальное «я» в поисках категорического императива. И действительно. Человек, выпивающий кружку пива, становится просто чуть-чуть нетрезвым. Но человек, выпивший рюмку водки, переходит в иное состояние: он уже не тот, он другой. Этот «другой» выпивает в свою очередь свою первую рюмку водки и переходит тоже в иное состояние, становится другим, не имеющим отношения к его прежнему, низкому «я». Иногда этот радикальный отказ от себя прежнего приводит в канаву. Но иногда – к категорическим императивам: «Ты меня уважаешь или не уважаешь?»

Кант был знаменит своим гостеприимством: во время ежедневных обедов у него в доме рядом с каждым гостем стоял графин с выпивкой. Но до категорических императивов никто не доходил. В последний период своей жизни Кант предпочитал кофе, пытаясь не заснуть во время обедов, но настолько ослабел физически, что ему подчас трудно было удержаться в равновесии, даже сидя в кресле. Особенно по вечерам, задремав, он все время падал, его ночной колпак загорался от ночной свечи, ему снились кошмары: во сне его постоянно преследовали банды убийц. Когда стоишь у саркофага в портике восстановленного на немецкие деньги собора, понимаешь, насколько этот город, с его бетонными башнями вместо замков и криминальной репутацией – истинной или ложной – соответствует и идеалам Канта, и его кошмарам.

И я влюбился в этот город. Может быть, потому, что узнал в нем самого себя. Москвич, проживший более четверти века в Лондоне, я живу чужеродным настоящим, и страхи из моего советского прошлого иногда проступают в моих снах о британском будущем. Не таков ли Кенигсберг, сменивший имя на Калининград, но где «деревья шепчут по-немецки» (И. Бродский), где памятник Ленину стоит на месте памятника гауляйтеру Коху, а в здании гестапо был местный обком, вместо руин замка – руины недостроенного бетонного Дворца Советов, а нацистские надписи в центре города проступают сквозь стертые партийные лозунги, где у всех барельефов из прусского прошлого отрубленные головы, но тем не менее память о прошлом ни у кого не отшибло, хотя потеряв голову, по волосам не плачут.

Отделенный в наше время от российской метрополии землями Польши, Литвы и Белоруссии, Калининград – как Западный Берлин – это своего рода остров в море заграницы, вроде Великобритании. И в своих замечательных собутыльниках из баров, пабов, клубов и просто калининградского застолья я узнал знакомый не-

сгибаемый дух островитян – с их чувством независимости, избранности и вечного любопытства. Несмотря на все ужасы современной истории, калининградцы находят в себе силы трансцендентально относиться к происходящему, следуя заветам вечного оптимиста, их легендарного соотечественника Иммануила Канта.

Где витает его дух в наше время, трудно сказать, но он явно витает. После всех перемещений могилы Канта неясно, что и кто там покоится, что там запрягано. Не бутылка ли водки? И если да, то какого сорта? «Московская» или же все-таки местная, «Флагман»? Я не уверен, что отыскал в Калининграде категорический императив, но мои попутчики по визиту в этот город, заядлые любители пива, британцы, утверждают, что, трансцендентально говоря, пиво в наши дни в Калининграде тоже хорошее.

Сталин под красным фонарем

Пока одна часть человечества празднует пятидесятилетие со дня смерти Сталина (а другая скорбит в годовщину смерти Прокофьева, скончавшегося в тот же день, что и Сталин), голландцы готовятся к сезону малосолевой селедки. Ее вылавливают по весне, засаливают прямо у вас на глазах и тут же продают из бочек на улицах Гааги, с лотков, как горячие сосиски в Лондоне. И запивают пивом. Но, оказывается, связь селедки и Сталина – это целый концептуальный проект, тоже отмечающий свой юбилей.

Пятнадцать лет назад меня впервые в жизни ограбили. Я родился в московской бандитской Марьиной роще, жил в трущобах лондонского Ист-Энда, бродил по ночам в нью-йоркских пригородах – и ничего. А в самом мирном городе на свете, в Гааге, два негра-наркомана из темного переулка сбили меня с ног и вынули триста долларов – мои тридцать сребреников за интервью в связи с выходом моего романа на голландском языке. В романе мой герой уверен, что он – незаконный сын Сталина, но тень Сталина нависала надо мной в Голландии не только как метафора из романа. Дело в том, что на той же неделе, в рамках фестиваля уличного искусства, Комар и Меламид установили концептуальный бюст Сталина на одной из площадей Гааги. И площадь эта была ни больше ни меньше как центр района красных фона-

рей, где проститутки выставляют себя в витринах, подсвеченных красным светом, как бы в подражание голландской живописи. Учитывая разные аспекты местоположения проекта, Комар и Меламид поместили классический советский бюст Сталина на красном бархате в полицейской будке, с красной лампочкой слева и с муляжом селедки. Наличие селедки красноречивый Комар объяснял легендарным пристрастием Сталина к этому национальному блюду голландцев. Комар вычитал в мемуарах одного из политбеженцев той эпохи, что эту любимую вождем селедку по заданию Политбюро советские десантники тайно вывозили из Голландии даже во время гитлеровской оккупации.

Для получения разрешения на установку скульптуры пришлось получать тройное одобрение – от куратора фестиваля, от муниципалитета и от представителя местного населения. Поскольку местное население – проститутки, то на торжественном обеде присутствовал и их представитель, то есть главный сутенер этого района. Ему идея понравилась. Он, возможно, распорядился и двумя неграми, которые отобрали у меня гонорар за антисталинские высказывания в голландской прессе. Я считал, что эта инсталляция предупреждала голландцев об ужасах тоталитарной любви к селедке и сексу.

Прошло пятнадцать лет. Историческая ситуация, как известно, кардинально изменилась. Концептуальный Сталин в полицейской будке стал жертвой многократных актов вандализма. Изобретательный Комар утверждает, что район красных фонарей захватила мафия из новых русских, и им неприятно напоминание о тоталитарном прошлом в виде бюста Сталина, да еще в авторитарной полицейской будке. Местное население этого района, короче, потребовало убрать этот концептуальный объект куда подальше. Я, как всякий маниакальный эгоцентрик, считал, что печальная судьба этого сталинского монумента – месть за ограбление пятнадцать лет назад.

Оказалось, что я слишком рано торжествовал. Когда в Гааге открылось новое крыло Государственного музея искусств, Сталина решили перенести на площадку перед музеем. Поставили его рядом с автобусной остановкой: такое впечатление, что Сталин постоянно смотрит вслед уходящему автобусу современности. Или же цель была – пугать полицейской будкой тех, кто пытается отобрать у эмигрантских писателей их гонорары? Так или иначе, переезд сталинского монумента происходил с помпой: куча народу пила голландскую хвойную водку с селедкой и выслушивала разные легенды и комментарии Комара в связи с географическими перемещениями вождя и учителя из квартала проституции в музейный двор. Наше сомнительное продажное прошлое становится в конечном счете музейным объектом, сдается в архив.

Архивы, впрочем, не так просто хранить. Я сам переехал в новое помещение – своего рода вторая эмиграция – в связи с личными проблемами любви и дружбы. Когда я возвратился из Гааги к себе в лондонскую студию, выяснилось, что мою студию ограбили. Выбили ногой дверь. Унесли портативный компьютер с моими сочинениями. Явилась полиция и забила дверной проем листом рифленого железа. Все мое имущество оказалось заколоченным. Все мои сочинения, все мое прошлое, включая рассуждения про готический роман ужасов эмиграции, возможно, исчезло – за этим рифленным железным занавесом. Подобное ограбление случилось со мной, опять же, впервые. Как и в прошлый «первый» раз, произошло это после контакта с этим самым сталинским монументом в полицейской будке.

Кто сказал, что сталинизм – мертв? Сталин, может быть, и мертвый, но за него действуют его идолы. Как в готическом романе, ожившая скульптура мстит своим врагам-клеветникам – и внешним, и внутренним. Сталинский роман все еще сочиняется.

Заря коммунизма

Редкий писатель еще и добросовестный читатель. И все же, прощаясь с XX столетием, трудно не вспомнить Читальный зал библиотеки Британского музея. Тут Маркс, экономивший каждую копейку, трудился над своим «Капиталом». Все мы, писатели прошлого века, дети столетия тоталитарных кошмаров, были одержимы в той или иной степени, в той или иной роли, идеями социальной утопии. А в двухтысячном году британцы отмечали еще один юбилей: сто пятьдесят лет назад Маркс получил долгожданный читательский билет – допуск в Читальный зал музея. Чтобы попасть в библиотеку, надо миновать ассиро-вавилонских монстров в виде полулюдей-полуптиц размером в кремлевскую башню и пересечь зал древнеегипетских саркофагов. Тем же маршрутом следовал годы спустя и Ленин, когда изучал «Капитал» Маркса. Как будто ностальгическим эхом к этому ключевому эпизоду лениниады, труп Ленина был забальзамирован в египетской пирамиде Мавзолея.

Моей пионерской встрече с мумией Ленина в школьные годы помешала не то свинка, не то ветрянка; в сознательном состоянии я нос воротил от Мавзолея как типичный интеллигентский сноб с антисоветскими предрассудками. В первый (и в последний) раз я нанес визит в Мавзолей относительно недавно, уже вернувшись в родную Москву как эмигрант, как британский

подданный. Я даже ощутил некую общность с Лениным: нам обоим был знаком один и тот же маршрут через залы Британского музея, мы оба эмигрантами вернулись в Россию, где духовно воспитывались на «Капитале» Маркса. В день моего визита в Мавзолей я столкнулся у Исторического музея с толпой демонстрантов – защитников идеи реставрации советской власти. Даже тогда, лет десять назад, они гляделись нелепо: изможденные, осунувшиеся лица людей лет за шестьдесят, дурно одетые, с растерянным взглядом и неверными жестами. У этих людей отобрали жизнь – их беды и победы, их кровотокающую боль и кровожадную радость. Одна из теток, в пальто с вытершимся кошачьим воротником, ходила в толпе с копилкой для сбора пожертвований на их общее дело. Копилка была переделана из хлебницы с прозрачной крышкой, со щелью для денег, а на заднике были наклеены портреты вождей – Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса. Эта копилка была копией деревенского вертепа с картинками Святого Семейства под Рождество.

Все вокруг заиграло библейскими аллюзиями. Египетская пирамида Мавзолея. Эмиграция как библейский исход из Египта. И эта горстка людей на Красной площади, ставших эмигрантами в собственной стране, в Земле Обетованной советской избранности, разграбленной римскими легионерами перестройки. Две эмиграции – внутренняя и внешняя – встретились на маршруте от Британского музея к Мавзолею, чтобы вновь, как в свое время Ленин, отправиться в изгнание, в Читальный зал в поисках призрака коммунизма, бродящего по Европе. Однако на этот раз в новом своем воплощении, на новом витке исторической спирали.

Со стороны кажется, что от советского коммунизма не осталось ничего, кроме изувеченных монументов, потрепанных знамен и разбитых сердец. Колосс на глиняных ногах, когда-то внушавший ужас, развалился на глазах. Испустил дух. Куда же этот дух испарился? Я вам скажу куда: за границу. В Западную Европу. В эмиграцию.

В диаспору. Улетел туда, где он, собственно, и зародился благодаря эмигрантам Ленину и Марксу – в стенах библиотеки Британского музея. Советский коммунизм стал достоянием истории. Призрак коммунизма бродит среди музейных стен в поисках выхода.

На протяжении веков европейские идеалисты использовали Россию в качестве подопытного кролика для проверки на практике своих утопических идей. Западные правительства, страшась революционных переворотов в собственных странах, поощряли Россию в ее экспериментах на самой себе. Катастрофические результаты подобных экспериментов отпугивали цивилизованное население Европы и настраивали его против ретивых адвокатов радикальных общественных реформ у себя дома. Ради этого европейские правительства готовы были финансировать в той или иной форме российские игры в общественную справедливость. Коммунизм в Восточной Европе не мог бы выжить без финансовой поддержки капитализма Запада. Загнивание коммунизма означало, в первую очередь, загнивание капитализма: это значило, что больше нет денег на дорогостоящие общественные эксперименты на чужой территории. Ни о чем, кроме как о духовном кризисе капиталистической системы, подобная прижимистость не свидетельствует. Налицо разочарование в утопических идеалах, то есть – неверие в какой-либо общественный прогресс, а без этого общественного оптимизма нет и капитализма как такового.

И тем не менее, разглагольствования о смерти советского коммунизма крайне преждевременны. Действительно, тело этой доктрины разрушено вместе с уничтожением партийно-административного аппарата. Однако советский коммунизм никогда не был исключительно партийной идеологией. Заветы Ленина будут жить в наших сердцах, даже если Мавзолей переделают в Макдональдс. Культ личности Сталина глубоко сидит в наших душах. Вечная Хрущевская весна ежегодно рас-

цветает у нас в груди. А Брежневский застой будет постоянно подступать к горлу. Советский коммунизм – это мы, с лихорадкой революционных катаклизмов, с благородной яростью к врагам народа, с радостными мечтами о светлом будущем всего человечества.

Советский коммунизм был побит камнями либерализма точно так же, как в свое время пытались очернить идеалы христианства, разоблачая ужасы Инквизиции. Коммунизм, как и христианство, это не просто идеология. Это религия и поэтому не исчерпывается своими историческими ошибками, победами или поражениями. Да, храм Советского Коммунизма в России осквернен, его фундамент серьезно подорван. Однако религии могут существовать и без храма, и без территории. Давайте же взглянем на себя глазами первых христиан, тех иудеев, что были изгнаны из Святой Земли римскими язычниками, чтобы в диаспоре нести свет народам. Давайте зложим первый камень в основание новой синагоги нашей коммунистической диаспоры. Все есть в нашем распоряжении, чтобы заново отстроить храм коммунизма, – на этот раз в наших сердцах.

У нас есть наша Библия – из «Капитала» Маркса, книг Ленина и Сталина, Хрущева и Брежнева. Есть иконография – из портретов основателей марксизма-ленинизма и славных членов Политбюро. Есть, естественно, свои мученики. Есть у нас и религиозный календарь с его праздниками, вроде годовщины Октябрьской революции. Есть и религиозные ритуалы, вроде публичных исповедей врагов народа. Нам предстоит стоять на страже чистоты религиозной доктрины – против идолопоклонства и ересей, правых и левых уклонистов, от фарисейства китайских коммунистов до фальшивого популизма кубинцев. Не следует игнорировать и язву европейского федерализма, пытающегося подменить Третий Интернационал. Эти явные и подпольные еретические загибы будут вовремя разоблачаться и предаваться анафеме в наших буллах, энцикликах и эпистолах.

А чтобы не потерять друг друга во тьме капиталистического кризиса, мы должны собираться каждую субботу в наших молитвенных домах, в наших самодельных синагогах вне Земли Обетованной – бывшего Советского Союза, на эмигрантских кухнях или в пабах, вроде «Таверны Британского музея» (напротив входа в исторический Читальный зал), куда заходили и Маркс, и Ленин. Чтобы отныне и вовеки веков призраку коммунизма было где преклонить голову. Уходящее XX столетие, провозглашенное декадентской западной прессой как эпоха окончательного падения коммунизма, останется в памяти человечества как эра первых апостольских откровений. И мы сможем поведать нашим внукам, что мы были свидетелями не заката, а зари коммунизма во всем мире.

Мертвый час

В Артек я мечтал попасть на протяжении всего своего пионерского детства, но получил туда пропуск лишь сейчас, пятьдесят лет спустя, как автор английского радио. Чтобы побывать в Артеке, мне надо было эмигрировать на Запад, точно так же, как Гагарину, чтобы увидеть страны Запада, надо было слетать в космос. Летал он, кстати, всего три часа, столько же, приблизительно, сколько занимает перелет из Лондона в Москву. Гагарин был в Артеке почетным гостем и передал в дар местному музею разные экспонаты. Тут можно увидеть фотографию Лайки. Она сторела на работе, как и сам Гагарин. Есть тут и тренажерное кресло космонавтов: ты в нем вертишься вверх ногами, но не должен терять чувства перспективы происходящего. То же самое произошло и с Артеком. Как можно было предположить, идеологическое лицо Артека кардинально изменилось, перевернулось, так сказать, с ног на голову. Раньше попадал в Артек за верность коммунизму, сейчас – за деньги. Там, где раньше тренировали детей со всего мира в духе коллективизма и коммунизма, сейчас воспитывают в духе индивидуализма и капитализма. Но методы совершенно те же: вроде линейки, маршировки и пения вокруг костра около статуи Ленина. Монумент вошел в книгу рекордов Гиннеса как самая высокая статуя Ленина в мире. Я предложил поместить у него в гигантской голове – маяк, чтобы он при этом показывал своей дес-

ницей, устремленной в будущее, дорогу кораблям. Но опытные черноморские мореплаватели, поглядев на направление вытянутой руки, сказали мне, что она указывает на две скалы, вроде Сциллы и Харибды, у входа в артековскую бухту. Может, это и станет наконец серьезным уроком для левой британской интеллигенции, уже осудившей Сталина и Дзержинского, но еще оправдывающей Ленина и Троцкого.

Это они посылали своих детей – от девяти до четырнадцати – в этот коммунистический рай на земле. Здесь побывали, естественно, дети лидеров компартий со всего мира, от знаменитых Тореза и Ибаррури до, скажем, представителя коммунистической молодежи Соединенных Штатов, заслуженного пионера Гарри Айзмана. Мы плохо отдаем себе отчет, каковы были масштабы этого международного центра промывки мозгов: Артек существовал с 1925 года. К 60-м годам через каждую смену проходили десятки тысяч детей разных стран и национальностей. Тут были не только молодежные инструкторы, но и почетные гости – от Джавахарлала Неру до партийных деятелей и советских педагогов. Некоторые из этих «педагогов» жили месяцами на территории Артека. Что там происходило в свободное от военных маршей, марш-бросков и торжественных линеек время, одному Ленину известно. Публике известны лишь неосторожно опубликованные, в свингующие 60-е, статьи о насущной необходимости бороться с «групповыми преступлениями и половой распущенностью» среди артековцев. В редких мемуарах об Артеке 50-х годов, скажем, Поля Тореза (существующих на французском и в английском переводе), говорится об этом глухо, но несколько случаев самоубийств – среди пионеров и вожатых – вообще никем официально не упоминаются. Если знаешь, скажем, что «дедушка» Калинин, защитник октябрят и пионеров, был педофилом, становится не по себе. (Сталин, издеваясь над ним и шантажируя, заставлял его фотографироваться с детьми на руках.)

Советская власть вообще демонстрировала непрерывную заботу о детях. Это был «педофильский» режим как таковой. «Дети – это наше будущее». Поскольку каждый понимал, что настоящее – мрак, и жизнь – каторга, то дети – оправдание этого ежедневного ада. Детей не оставляли в покое ни на минуту. Их не одевали – их закутывали, им не давали еду – их откармливали на убой. (Вот именно: на убой – в каждом последующем поколении.) Поль Торез в своих мемуарах перечисляет артековское шестиразовое меню: только здоровые дети из иностранных компартий и советской элиты способны были не впасть в полный кретинизм от такой обильной диеты. Но в этой заботе с показухой был и страх. Потому что в каждом ребенке может скрываться Павлик Морозов. Библейская история Авраама и Исаака – это история о том, как дитя, отданный на заклятие, подменяется ягнёнком. Советская история Павлика – это история о сыне, заложившем своего отца ради мешка с зерном. Даже гайдаровский Тимур и его команда оперируют как тайные звенья во взрослом мире со своей конспиративной тактикой контроля над происходящим.

В свою очередь, советские взрослые держали детей под постоянным и пристальным контролем. Вся жизнь ребенка в Артеке регулировалась детально с дозировкой всего – от солнца и моря до сновидений. В моем собственном пионерском лагере (а все лагеря на свете, включая трудовые исправительные, были подражанием Артеку) после обеда наступал «мертвый час», когда все должны были спать, и причем на правом боку. Когда я укладывался на спину, вожатая орала на меня: «Ты чего как в гробу улегся? Немедленно на правый бок!» Мне хотелось ответить, что лежу как в гробу, поскольку это – мертвый час.

Идея спать на правом боку была связана с некими медицинскими теориями той эпохи о пищеварении и работе сердца. Такой помешанности на медицине, как в советскую эпоху, невозможно представить себе даже в со-

временной Америке. Но если партийцы – это инженеры человеческих душ, то врачи – инженеры человеческого тела, ключевые фигуры в строительстве светлого будущего. То есть медицина – это часть идеологического аппарата власти. Поэтому «дело врачей-отравителей» не могло возникнуть нигде, кроме как в советской стране.

Этот тотальный контроль над душой и телом превратил нас в поколение обиженных детей. Нам обещали гарантированное будущее, но годы проходили, а рая не наступало. Постепенно становилось ясно, что нас обманули. И мы обиделись на весь мир, отказывающийся признать нашу уникальность. Вся жизнь растягивается в сплошной мертвый час. На правом боку, с мечтой об Артеке под подушкой. Мы ждем, когда нас разбудит пионерский горн из отжившего прошлого.

Лето единорогов

Лето вызывает у меня чувство разлуки и тоски по дому. Дело в том, что в детстве каждое лето родители отправляли меня в пионерский лагерь. В лагере мне нравилось, но территория была заперта на железные ворота, и родителей пускали на свидания со мной, как в тюрьме, раз в неделю. А когда я тридцать лет назад навсегда уезжал из Москвы, то первой остановкой в этом путешествии без надежды оказался жаркий Иерусалим с ностальгией по московскому застолью. Иерусалим мне нравился, но Москва была отделена от него «железным занавесом». И в этом смысле роковое для меня лето позапрошлого года было как эмиграция. Я ушел из дома и начал новую жизнь за углом с другой женщиной. Женщину я любил безумно, но решение поселиться в квартире за углом было ошибкой: периодически я проходил мимо своего (в недавнем прошлом) дома и видел запертую чугунную калитку и свет в окне.

Мной овладела охота к перемене мест, и я отправился с любимой женщиной в ее родные места, в Германию, в предгорья Гарца. Водопады, пещеры, никаких заборов. Одна из самых крупных и глубоких пещер этой местности знаменита тем, что там на протяжении столетий находили кости загадочного происхождения. Не единорога ли? Единорог – мифическое существо. Поскольку никто не знает, как он выглядел и откуда в пещере кости, почему бы не посчитать останками этого самого едино-

рога? Энтузиасты этой теории позапрошлого века заявили, что порошок из этих костей обладает мощными целебными свойствами (в смысле эрекции, конечно). Вокруг пещеры возникла небольшая, но вполне солидная туристская индустрия. Это место посетил даже Гёте. В результате, этим вопросом пришлось заняться серьезным ученым. Они доказали, что кости эти – останки вовсе не мистического единорога, а заурядного первобытного пещерного медведя. Кроме того, в этой пещере жили сотни тысяч лет назад неандертальцы.

Любопытно было увидеть, как жили наши предки. Поглядев на своды, заросшие складками сталактитов, с соляными буграми в виде монстров и химер с готических соборов, я понял, откуда происходит христианский собор. Прототип – это, конечно же, не греческий храм, а пещера со сталактитами. И в самом деле, ведь первые христиане жили в подполье, в катакомбах. Но у этой храмовой пещеры и, соответственно, у христианского храма, есть невероятное сходство с еще одним классическим образом – из человеческой анатомии. (Не следует забывать о фаллической символике единорога.) Если взглянуть на своды этой пещеры, уходящие вдаль, вглубь и ввысь, с алтарным проемом в перспективе, становится ясно, на что эта пещера похожа: на утробу, вагину. И мы – маленькие визитеры – внутри. Неандертальцы жили в гигантском женском половом органе. Они там разводили костры. Столетиями позже эту пещеру навещали и другие представители рода человеческого. Оставляли надписи на стене. Представляете, между ног любимой женщины написано: «Здесь был И. В. Гёте», и выставлена дата. Куда только не залезешь, спасаясь от дикой жары.

Как выживали в этой крошечной тьме пещерные медведи, я еще могу понять. Но жизнь неандертальца представляется мне крайне незавидной. Эта пещера напомнила мне Аджимушкайские каменоломни под Керчью в Крыму. Там тоже, как известно, поселились живые существа. И загнал их туда тоже страх. Но не перед

вечной мерзлотой или Господом Богом, а перед ГБ: органы безопасности во время войны с немцами отдали приказ не сдаваться, а перебраться в катакомбы – в каменоломни. Солдаты там жили вместе с женами и детьми. Как там можно было продержаться несколько месяцев, представить себе трудно.

Даже в дикую жару там минусовая температура. Воды не было, ее просто слизывали с влажных стен пещеры. От отравляющего газа скрывались в нишах, закрывшись мокрыми одеялами. В кромешной тьме перестукивались, предупреждая друг друга, кто и где находится. Командному составу в темноте, наверное, мерещились пещерные медведи и единороги. Видимо, кое-кто пытался вырваться наружу, и таких расстреливали на месте. В конце концов там началась моральная деградация и разброд. В буквальном смысле. Судя по описаниям, были установлены пропускные пункты, все «свои» знали пароль, остальных убивали.

Все это до сих пор выдается за часть героической истории сопротивления нацистским оккупантам, единорогам рода человеческого. Но когда тусклый фонарик местного гида выхватывает во тьме под бугорчатыми пещерными сводами швейную машинку или сломанную детскую игрушку, начинаешь понимать, что означает быть заложником чужого образа жизни, что означает верность героическому прошлому – под приказом.

Ужас, однако, в том, что, вопреки всему, это место выглядело как родной дом этих пещерных обитателей. Если бы единороги действительно существовали, представителей этой породы заведомо можно было бы встретить в моем лондонском районе Камден в качестве иммигрантов. Население в этом богемном районе Лондона настолько этнически пестрое, что трудно отличить экзотическую особь животного мира от человека. Бродят пещерные медведи, продают героин. Тут не только знаменитый лондонский зоопарк, но и не менее знаменитый зоомагазин. Этот зоомагазин закрывается

на ночь щитами из рифленого железа: такой железный занавес, отгораживающий одну породу живых существ (людей) от другой (животных). Когда мы вернулись в то легендарно жаркое лето в Лондон из Гарца, тропический зной придал всей этой этнической пестроте Камдена атмосферу джунглей. Видимо, поэтому вид змеи на тротуаре ночного города не вызвал у прохожих особого удивления. Мы уже давно привыкли к тому, что лондонское метро битком набито не только пассажирами, но и крысами. Чего удивительного было в черной ленте, извивающейся на раскаленном асфальте?

И тем не менее, вокруг змеи собралась-таки толпа, стояла и глазела. Поражала не сама змея, а тот факт, что змея пыталась пролезть сквозь железный занавес, закрывающий вход обратно в зоомагазин. Она явно выискивала любую, какую угодно узкую щелку, пробойину в щите рифленого железа, чтобы попасть к себе домой. На улицах либерального, этнически пестрого, экзотического Лондона ей было явно не по себе. Она пыталась проникнуть обратно в привычную клетку с сестрицами-змеями, я так полагаю, в соседстве «с обезьянами и говорящими попугаями» (как рекламируется на вывеске магазина). Змеиная клетка была, по крайней мере, хорошо освещена и обогрета, с кондиционером, продуктивное снабжение, я уверен, было неплохим. Змея стремилась обратно – в домашний быт. В знакомую тюрьму.

С какой-то роковой преданностью домашнему крову мы лезем обратно в уютную змеиную клетку за щитом рифленого железа, за железный занавес памяти о нашей маленькой советской России, в пещерную утробу нашего прошлого. В эту смерть нас неотвратно тянет. В конце концов твои останки – скелет неандертальца нашей эпохи – смешаются в представлении современников с костями пещерных медведей и будут распроданы как кости некоего мифического единорога. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

Гёте в Бухенвальде

«Фауст» Гёте был и остается для меня в первую очередь обложкой. И неудивительно: Гёте моего детства был изданием in folio, размером в полстола (того обеденного стола, что стоял посреди нашей комнаты), с золотым обрезаем. Переплет был тисненой кожи, где барельефом была выдавлена каббалистическая звезда, заключенная в масонский круг (явное издевательство над символом советской власти), с обрамлениями в виде виноградных лоз и ангелов, а над всеми этими балясинами маячил контур мистического существа – то ли самого Фауста, то ли Мефистофеля. Я никогда толком не успевал рассмотреть все детали этого визуально-метафизического излишества, как не помню в подробностях несколько шикарных гравюр-иллюстраций внутри тома, переложенных прозрачной воощеной бумагой. Книга никогда не оставалась на месте, ее все время куда-то передвигали, куда-то пытались засунуть, забросить, завалить: по той простой причине, что она все время мешала проходу, загораживала кому-то дорогу, захватывала свободное помещение.

А в нашей комнате война шла за каждый свободный сантиметр. Скандалы шли постоянно. Иногда мама пыталась убедить отца физически в собственной правоте – с помощью этого издания: грохот стоял страшный. И вопли от боли: книга периодически падала кому-то на ногу,

защемляла палец. В двенадцати квадратных метрах коммунальной квартиры проживали: мой отец с матерью, я со своей сводной сестрой и периодически к нам подселяли нашего больного дедушку, равного по размеру с изданием «Фауста» – поэтому приходилось выбирать.

Мама возненавидела, мне кажется, по-настоящему отца, когда тот подарил это крупноформатное издание на очередной юбилей их свадьбы. В самом начале 50-х годов, с популярным в народе образом врача-еврея как убийцы в белом халате, с навязчивыми идеями международных масонских заговоров против советской власти, обложка из свиной кожи с пятиконечной звездой, но с провокационным каббалистическим мотивом, была в нашем доме (мои бабушка с дедом были врачами) не очень к месту. Да и что мог высматривать мистический алхимик в дымящейся колбе: кремлевских руководителей, загубленных врачами-убийцами? или некий чудесный субстрат, способный компенсировать дефицит масла, молока, муки, мыла – чего там еще не хватало на букву «м»: мысли?

Короче, и мама, и бабушка (родственники по материнской линии считали отцовское семейство плебеями) смотрели на моего отца как на полного идиота. Отец, как я понимаю, всех этих зловещих аллюзий действительно не замечал. Он в первую очередь тянулся к высокой культуре. Кроме того, в его выборе подарочной книги, скорее всего, свою роль подсознательно сыграла фраза Сталина, звучавшая у всех в голове в те годы: насчет того, что «эта штука посильней Фауста Гёте». Отец явно не знал, кто оказался сильнее Фауста с точки зрения Сталина, и в чем была штука. Он поэтому купил на всякий случай, самого большого «Фауста». Видимо, чтобы знать, с чем сравнивать великих мира сего.

Движимый, как я понимаю, подсознательно гигантоманией «Фауста» из моего детства, в поисках «Фауста» оригинальных масштабов, я и отправился недавно в Веймар, чья репутация немыслима без имени Гёте. И Шил-

лера, конечно, тоже. Сравнительными размерами именно этих двух гениев города и были особенно озабочены жители Веймара. Масштабы национальных героев зависят от идеологии. Это очевидно, когда глядишь на главный монумент музейного Веймара – Гёте и Шиллер в виде двойного скульптурного портрета: два великих поэта Германии стоят на пьедестале плечом к плечу, их взор устремлен в будущее. Так вот, И. В. Гёте на пьедестале – того же роста, что и Шиллер, хотя в жизни Шиллер был повыше. Точно так же И. В. Сталин на коллективных фото оказывается выше других партийных товарищей. Не ощущал ли Сталин свое духовное родство с автором «Фауста» из-за сходства инициалов, общих, кстати сказать, и с И. В. Грозным?

Я позволил себе столь фривольные ассоциации, следуя духу гётевской школы символизма имен, цветов, цифр. Все для Гёте было символично. Например, листок дерева гинкго, попавшего в Веймар из Японии благодаря энтузиазму Гёте. Листок гинкго разделен ложбинкой на две части, так что это как бы и один лист, разделенный надвое, или два листа, сросшиеся воедино. Эта идея двойственности единства великой любви – тема стихотворения Гёте про листок дерева гинкго. Кроме этого метафизического символизма, гинкго, как оказалось, обладает еще и уникальными целебными свойствами, избавляющими от потери памяти и продлевающими жизнь. Гёте высаживал семена гинкго где только можно. Неудивительно, что духовные наследники германского гения превратили гинкго в местную индустрию. В результате я так и не попал в дом-музей Гёте и поэтому не знаю, употреблял ли гинкго сам поэт в виде настоя или еще как.

Неисчерпаемым возможностям употребления гинкго в ежедневном быту посвящены три этажа супермаркета в сердце Веймара. Там практически я и провел все время своего пребывания в Веймаре, изучая не только разные настойки из гинкго в разноцветных бутылках,

но и, скажем, шампунь с ингредиентом из гинкго, трафареты для обоев с мотивом листка гинкго, майки с цитатами из стихотворения Гёте о гинкго, диски и видео с поп-музыкой на тему гинкго, гинкго-чай и, естественно, скульптурные и живописные изображения этого чуда флоры.

Такое впечатление, что в недалеком будущем леса Тюрингии исчезнут – все холмы засадят деревьями гинкго. Однако Гёте был одержим не только зарубежной экзотикой. Все в нем было гармонично и сбалансировано, и любовь к японскому гинкго уравновешивалась любовью к местному тюрингическому дубу. Под одним из этих дубов, на холмах вокруг Веймара, поэт любил сживать со своей возлюбленной баронессой фон Штейн. Дуб этот рос среди деревьев бука – в буковом лесу, то есть, по-немецки, Buchenwald, в Бухенвальде. Когда в конце 30-х годов этот лес нацисты выбрали для строительства концентрационного лагеря, буковый лес в округе вырубали, но так называемый «дуб Гёте» тронуть не решились. Он так и остался стоять один, бедняжка, в могучей красоте среди «долины ровных» лагерной зоны. Сохранилось якобы письмо Гёте, где он сравнивал мощь этого дуба с силой германского народа и утверждал, что пока этот дуб стоит, выстоит и Германия. Но дуб в действительности крайне неустойчивое дерево. Корни его неглубоки: дуб первым опрокидывает и вырывает с корнем ураган. Дуб Гёте в Бухенвальде поразил ураган истории: в него попала зажигательная бомба бомбардировщиков авиации союзников. Через несколько месяцев Бухенвальд был освобожден, Германия пала.

В Бухенвальде уголовники носили на груди зеленый треугольник, политзаключенные – красный, а евреи – желтую шестиконечную звезду. Если ты был евреем и коммунистом, то один из треугольников шестиконечной звезды был желтым, а другой – красным. Не эта ли двойственность в единстве возвращает нас и к каббалистическому знаку на обложке крупноформатного «Фаус-

та», и к листику гинкго (избавляющему от потери памяти) из стихотворения Гёте? И еще к таинственной кабалистической связи между И.В. Гёте и И.В. Сталиным.

После раздела послевоенной Германии на зоны, оккупированные союзниками, Бухенвальд оказался в руках сталинской администрации. Через несколько недель на месте нацистского лагеря советские оккупационные войска устроили свой исправительно-трудовой лагерь, где, по официальным (советским) данным, за пять лет его существования погибли около пятидесяти тысяч человек. Об этом не говорилось немецким школьникам до падения Берлинской стены, когда их привозили сюда на обязательную общеобразовательную экскурсию об ужасах нацизма. Бухенвальд для одних – это уроки ужаса, а для других – ностальгия школьных лет. Об этом поведала мне бывшая выпускница из советской Германии: на территории Бухенвальда можно незаметно отделиться от экскурсионной группы, спрятаться за баракком и самозабвенно целоваться со своей первой любовью из смежной группы младших классов. Память искажает не только масштабы собственного детства, но и чужой истории.

Забракованная шизофрения

Так и тянет сказать: «Ситуация совершенно шизофреническая». Живешь с одной женщиной, а думаешь о другой, думаешь об одном, говоришь о другом, в своем собственном доме чувствуешь себя как сосед, в своей стране ты как бы иностранец, общаешься на двух языках. Слова типа раздвоенность, расщепленность и двурушничество не сходят с языка. Эмиграция, короче говоря, как психическое заболевание. Я эту фразу так часто употреблял, что мне в голову не приходило: а что такое, собственно, шизофрения? Я ведь слышал, что люди от этой болезни совершенно теряют разум, гибнут, кончают жизнь самоубийством. Вот почему я пошел в книжный магазин и купил популярную брошюру «Шизофрения» серии Оксфордского университета.

У меня есть уже несколько замечательных книжек из этой серии в зеленых обложках карманного формата на самые разные темы: про Спинозу, ислам, сюрреализм. Вот я и купил еще одну – про шизофрению. Разберусь, думаю, во всем, не буду больше употреблять этот термин без разбору. Купил, открыл, стал листать с большим интересом и сразу вижу: что-то не то. Шрифт бледный. Не то чтобы читать невозможно. Вполне возможно. Но заголовки как-то плохо пропечатаны, как непропеченный хлеб. Это не сразу заметно, если только присмотреться. Я долго присматривался. Может, все нормально? Сравнил со «Спинозой», потом «Ислам» открыл. Не уверен насчет Спинозы, но в книжке про Ислам заголовки явно ярче, четче, внушитель-

нее. А в книжке про сюрреализм фотографии явно контрастнее. Короче, ощущение от книги про шизофрению, что она – бракованная. Вполне возможно, я был неправ. Но ничего со своим ощущением неполноценности издания я поделаться не мог. В общем, после недели сомнений и метаний я решил вернуться в книжный магазин и обменять свой экземпляр на другой, с более четкой печатью.

Я долго объяснял продавщице свою проблему. Она повертела экземпляр в руках, потом пожала плечами и сказала, что ощущение мое – субъективное, но если мне кажется, что экземпляр – бракованный, то нужно его, конечно, обменять. И указала на полку, где стояли все книжки из этой серии. Я вынул новый экземпляр и быстро пролистал его: совершенно другое дело. Обложка более зеленая, заголовки везде жирные такие, ясные и четкие. Я вышел из магазина с новым экземпляром в приподнятом настроении, довольный своей решительностью. Засовывая книжку в сумку, я еще раз взглянул на ярко-зеленую обложку. И тут увидел – «ну, блин!» сказал бы мой младший современник, что книжка называется не «Шизофрения», а «Шопенгауэр». Я взял с полки не ту книгу на ту же букву. Они же все зеленые. Перепутал обложку, после стольких метаний и раздумий. Оказался с совершенно ненужным мне Шопенгауэром. Зачем он мне, с его субъективным идеализмом и культом воли? Мне нужно понять клинические корни моего раздвоенного сознания. С силой воли у меня все в порядке.

Я выругался и вернулся в магазин. Объяснил ситуацию продавщице. Та поняла, подошла к полке с Оксфордской серией, но ни одного дополнительного экземпляра книжки про шизофрению найти не могла. Залезла в компьютерный индекс и сообщила мне, что возвращенный мной «бракованный», так сказать, экземпляр – последний в наличии. Все остальное – распродано. (Видимо, я не единственный с ощущением раздвоенности в этом мире.) Мне ничего не оставалось, как вернуть ей «Шопенгауэра» и взять обратно свой экземп-

ляр «Шизофрении». Вернувшись домой, я открыл его с совершенно иным ощущением. Поскольку экземпляр у меня на руках – единственный и своего рода уникальный, то яркость шрифта не с чем сравнивать – с таким мне и жить. Надо принимать мир таким, каков он есть.

Если только не пойти в еще один книжный магазин. А вдруг там масса экземпляров брошюры про шизофрению из той же серии, но с четкими, яркими страницами? Они стоят там и ждут меня. Но даже если это так, никто ведь не обменяет мой старый бракованный экземпляр, купленный в другом магазине, на новый? Нет, не обменяют. Мне придется купить еще один экземпляр. В таком случае у меня будет два экземпляра «Шизофрении». Шизофреническая, в общем-то, ситуация возникнет. Придется выкинуть тот, старый, бракованный экземпляр. Но я знаю, что начнутся сомнения: всё познается в сравнении. Может быть, вообще, весь тираж такой, и никакой существенной разницы между экземплярами вообще нет? Более того, может быть, экземпляр, возвращенный мне продавщицей, вовсе не мой, бракованный, а совершенно другой, поскольку мой, бракованный, успел купить еще кто-то, пока я возвращал своего «Шопенгауэра».

Тем более, взяв с полки не тот экземпляр, никогда не уверен, достаточно ли яркий шрифт на странице или просто так кажется, параноя такая. В этом и состоял совет продавщицы в том магазине, где я и купил свою первую «Шизофрению». Она сказала: «Попробуйте на править на страницу яркий свет». Зависит ведь и от освещения. Она права: это все субъективно. Все это иллюзорно. Надо, как советовал Шопенгауэр, сбросить с реальности покрывало Майи, разорвать этот мыльный пузырь иллюзорности бытия и увидеть текст жизни в его истинном свете, без прикрас.

Может пойти и обменять экземпляр «Шизофрении» на «Шопенгауэра»? Хватит с меня этой двойственности.

Вечная старость

На заседании Королевского антропологического общества, посвященного долголетию, нам сообщили, что, теоретически говоря, процесс старения живых клеток может быть замедлен до какой угодно степени. То есть, теоретически говоря, нет никаких логических оснований считать, что есть какие-то пределы долголетию.

Зависит, конечно, какой частью тела ты дорожишь. Ученые проанализировали возрастной состав разных частей заурядной человеческой особи. Выяснилось, что, скажем, кожа у человека может быть лет на сорок, в то время как его мозги как у четырехлетнего. Перебивы сердца как у шестидесятилетнего, а половые органы рвутся в бой с яростью юноши двадцати лет. Или наоборот, сердце молодеет, а губы теплятся. Душа у человека может быть юношеская, а печень в связи с потреблением алкоголя – как у старика. После травмы в подростковом возрасте у меня начался ранний сколиоз и остеохондроз и уже в тридцать лет мне сказали, что позвоночник у меня – семидесятилетнего человека. Сам уже мертвый, а тело все еще прыгает, как это бывает у петухов с отрезанной головой. Или, скажем, нос коллежского асессора Ковалева. Если бы к носу Гоголя да приставить ухо Ван Гога, или заставить Безухова слушать глухого Бетховена... Классики разбирались в бессмертии любви путем пластических операций, пересадки органов и клонирования.

Мы желаем бессмертия, забывая, что это лишь продолжение процесса деградации, болезней, распада, всего того, что сопровождает нас всю нашу жизнь. Просто эти процессы – продолжительность заболевания – бесконечно растягиваются. Бессмертие – это отсутствие перемен, поскольку развитие подразумевает смерть. Об этом знали и древние греки. Эос, богиня Зари, добилась через Зевса бессмертия для своего любовника Титона. Но она забыла испросить для него юности. Несчастный Титон в результате становился все дряхлее и беспомощнее, но при этом никак не мог уйти из жизни: каждое утро он видел вечно молодую Эос, напоминающую ему о прежних днях любви. В конце концов боги над ним сострадали и превратили в цикаду. Цикада, заметьте, бесконечно выводит одну и ту же мелодию (или стрекот?), напоминая мне тех эмигрантов, вроде меня, которые не могут забыть своего прошлого и только об этом и долдонят, сводя неизвестно с кем старые счеты. Время для таких добровольных заключенных в тюрьме собственного прошлого остановилось. Но греки учили и другой вариант – вечной бессмысленной юности. Бессмертие было даровано и Эндимиону, на этот раз благодаря его любовнице Селене, культа лунной ночи. Он оставался вечно юным, но за счет чего? За счет того, что находился в состоянии вечного сна. Или ты не можешь умереть, бесконечно старея и говоря об одном и том же, или же ты остаешься вечно юным, но находясь при этом в полной бессознанке. Мне любопытно: видел ли Эндимион сны, и если да, не снилась ли ему вовсе не его Селена, а богиня Эос? Тому, кто в ночи, снится свет, и наоборот.

Сон – это своего рода безумие, пребывание в ином мире, как в эмиграции (а эмиграция – это своего рода сон, не так ли?) Замечали ли вы, что сумасшедшие практически не стареют? Мысль – вот что приводит к старению. История о нестареющем мальчике Питере Пане – это легенда о задержанном развитии. Это – остановка мысли. Это – смерть. Страх смерти заставляет нас пре-

одолевать эту остановку, эту задержанность развития, в самом буквальном смысле. Человек кончает расти где-то лет в двадцать, но культуристы не могут смириться с этой мыслью. Начинается одержимость развитием мускулатуры при полной остановке мыслительного процесса.

Собственно, восприятие времени столь же индивидуально и относительно, как пребывание во сне. Я не говорю уже об относительности времени и старения во время космических полетов. Когда один человек опаздывает на любовное свидание, ему кажется, что время несется со страшной силой, в то время как транспорт движется дико медленно. Но его восприятие времени совершенно не соответствует ощущениям человека, лениво сидящего в кресле с газетой. Мы не замечаем старение любого человека рядом с нами, но встретив однокашника сорок лет спустя, думаешь: неужели и я так изменился? Мы научились заниматься пересадкой органов, почему бы не пересаживать сновидения, вращивать чужую память, ощущение от другого лица, восприятие возраста?

В викторианскую эпоху средняя продолжительность жизни была лет сорок, и никого это не удивляло. В середине XX столетия – около шестидесяти. Сейчас повысилась до семидесяти с чем-то. Лет через двадцать есть надежда, что этот лимит опять повысят лет на десять. И так далее. Что же с нами будет, сколько можно так жить?

Аналогичного эффекта добиваются и с помощью наркотиков. Для этого не обязательно обкуриваться гашишем или пичкать себя героином. Во время упражнений в тренажерном зале вырабатывается эндорфин, тот же, что поступает в мозг во время оргазма. Это – наслаждение. От этого все силовики, штангисты, качки и культуристы как наркоманы – не могут остановиться в накачивании мускулов. Сам процесс наращивания мускулатуры – накачивание, связано с сексом, секс связан с деторождением, с возникновением плоти из ниче-

го, из возбуждения каких-то мыслей этим самым эндорфином и лептином. Недаром при вздымании тяжестей и накачивании мускулов они так орут, кричат, рычат, ахают и охают, как иные во время оргазма. Поглядите на юношей: как горяч и подвижен их взор, как упруга их походка. Не потому, что они молоды, не в молодости самой по себе очарование. Бывают моменты, когда и у старика вдруг возникает эта упругость и подвижность и огонь во взоре. Мы говорим: в такие моменты человек преобразается. Закон молодости – преобразование, изменение, рост. Вот именно: в молодости человек растет.

В самом процессе роста и заложена радость бытия. Этот самый эндорфин.

Но только культуристы и штангисты – они обращают это созидание плоти – деторождение – на самих себя, облепляют себя плотью, которая в естественных условиях могла бы бегать сама по себе в виде дитя. Постепенно эти культуристы уже не могут остановиться. Мозг начинает требовать все больше и больше этого эндорфина. Но тело не может накачиваться бесконечно, мускулы начинают изнашиваться. И тогда начинают принимать стероиды. Стероиды помогают наращиванию мускулов в процессе их накачивания. Ты начинаешь снова расти, и вместе с этим ростом изнутри возникает ощущение сексуального возбуждения, приподнятости и силы.

О динозаврах и долголетии

На днях мы посетили сенсационную выставку монгольских динозавров в Лондоне. Весь мир помешался на динозаврах. Объясняют это апокалиптическими настроениями конца тысячелетия. Англичане, кстати сказать, были одними из первых, кто в викторианскую эпоху превратил изучение динозавров из Монголии (где самое большое и самое сохранившееся кладбище динозавров) в занятие чуть ли не государственного значения. Викторианский музей естествознания набит скелетами динозавров. Музей расположен в шикарном Кенсингтоне, где половина улиц принадлежит семейству Филлиморов. Не сомневаюсь, что предки моего покойного друга лорда Робина тоже финансировали монгольские экспедиции в поисках первобытного населения нашей планеты.

Панч был самой старой лошадейю в его поместье. Конюшенная Линда сказала, что год у лошади считается как четыре у человека. Так что Панчу с человеческой точки зрения было лет восемьдесят с лишним. Тут задумаешься: а не пора ли и на покой? У молодого коня зубы выдаются вперед. У Панча они стали отгибаться назад, вовнутрь, и он едва мог жевать. Стал худеть и не спать. Все это явные признаки старости у лошадей, как утверждает Линда. У людей, между прочим, тоже, замечу я по собственному опыту.

Тем более я, как эмигрант из России, старше своего возраста. То есть, с точки зрения сознания, как я уже го-

ворил, мой возраст отсчитывается с момента эмиграции. Мне – двадцать лет. Но с точки зрения сердца – все совсем наоборот. Если у лошади, в сравнении с человеком, каждый год нужно считать за четыре, то у эмигранта в сравнении с человеком из метрополии каждый год надо удваивать. Уехавший из России всякий свой шаг за границей сравнивает с гипотетическим шагом аналогичного порядка у себя на родине, как если бы он не уезжал. Он все время примеривается: а что бы вышло из этого моего поступка, если бы я вообще не уехал? Поэтому всякое мгновение эмигрант переживает дважды. Так что мои два десятка лет на Альбионе надо удвоить, и если прибавить три десятка до отъезда, то я скоро сравняюсь в возрасте с моим отцом.

Собственно, может быть, в этом и скрыт секрет долголетия? При повторной эмиграции из Англии (обратно в Россию или в пустыню Гоби) я буду годиться в ровесники своему дедушке и т. д., пока не стану ровесником библейским праотцам. Библейские старцы жили, как известно, по тысячи с лишним лет. Комментаторы Библии до сих пор сомневаются: понимать ли этот возраст буквально или метафизически. Но я теперь не удивляюсь: библейские евреи столько раз эмигрировали из Вавилона в Ханаан, из Иудеи в Египет и обратно, а потом с обратным билетом в древнюю Персию, и конца до сих пор этому не видно. Чего тут удивляться тысячелетнему возрасту патриархов?

Романист Олдос Хаксли (автор антиутопии «Бравый новый мир» и брат знаменитого антрополога) скептически относился к долголетию. В одном из своих поздних романов («After Many a Summer») он предлагает читателю гипотезу о недолговечности цивилизации, миропорядка и вообще добра. Все, в конечном счете, возвращается в свое первоначальное состояние хаоса и зла. И поэтому всякая цивилизованная форма флоры и фауны тоже в конце концов возвращается к своему дикому прототипу. Скажем, если собака живет слишком долго и без

людей, она возвращается к волчьей породе. Отсюда один шаг к сюжету романа Хаксли: про развратного аристократа викторианской эпохи, который, обнаружив секрет долголетия (якобы внутренности карпа), в один прекрасный день исчезает. Его обнаруживают уже во второй половине XX столетия. В подвалах его замка скрывается орангутанг, и лишь по ленточке ордена можно понять, что эта обезьяна – тот самый аристократ. Потому что превратился он в своего предка.

Спрашивается, в кого превратится обезьяна, если дать ей возможность жить невероятно долго? В динозавра? Или обратно в человека? В кого превратился бы Панч, если бы жил чуть дольше? В лорда Робина? Никто, собственно, не знает, чья порода самая древняя, и кто в действительности чей предок? На недавней выставке монгольских динозавров в Лондоне демонстрировалось яйцо с эмбрионом этого первобытного монстра. Яйца динозавров для монголов как для русских матрешки. Они валяются в пустыне Гоби под каждой дюной, и монголы берут их с собой в Европу как сувенир или чтобы загнать по сходной цене. Клянусь, что эмбрион с лондонской выставки внешне похож на восточно-европейского еврея. Ситуация становится еще более интригующей, если придерживаться теории телегонии: согласно этой теории (по имени Телегона – незаконного сына Одиссея), ребенок может оказаться похожим не на отца, а на предыдущего любовника. Поэтому белая пара может родить черного ребенка, а евреи – монгола. В отношении людей это пока что лишь гипотеза. Но наша конюшенная Линда утверждает, что у лошадей именно это и происходит. Монголия славится не только динозаврами, но и, как известно, лошадьми. Может быть, монголы превратятся в конце концов в ту лошадь, что обитала здесь со времен их праотцов и Чингисхана? Я имею в виду, конечно же, лошадь Пржевальского.

С незапамятных времен циркулируют слухи о том, что этнограф Пржевальский – отец Сталина. Все улики

налицо. Буквально. Пржевальский похож на Сталина (наоборот, то есть), как две капли воды. Но главное, мать Сталина была прислугой в доме у Пржевальского, когда тот проживал около месяца в Тбилиси. А через девять месяцев у нее родился сын. Страшно похожий на Пржевальского. (Так что Пржевальский – это для Сталина значащая фамилия.) И у него с годами выросли совершенно такие же усы. Недаром мы так досконально изучали в советской школе этнографическую деятельность Пржевальского и его лошади.

Не знаю, останавливался ли Пржевальский в доме у матери Сталина вместе со своей лошастью, но Сталин, во всяком случае, родился без копыт, хотя и с шестью пальцами. Не помню, сколько пальцев на лапе у динозавра, но организатор выставки в Лондоне, легендарный палеонтолог из Монголии, доктор Барсболдт, утверждает, что монгольское отношение к динозаврам находилось в прямой зависимости от их отношения к Сталину. Сравнение динозавровых яиц с матрешкой надо понимать в том смысле, что в яйце динозавра сидит маленький динозаврик, в нем сидит еврей, в еврее – монгол, а в монголе – лошадь Пржевальского, в ней Чингисхан со Сталиным (или все наоборот). Однако все эти безумные гипотезы уходят корнями в дарвинизм. Когда я заметил, что эмбрион динозавра похож на еврея, я имел в виду – на старого еврея. Младенцы, кстати сказать, всегда похожи на самих себя в старости. Может быть, человек рождается с молодым телом и старой душой, а ближе к смерти его тело окончательно стареет, а душа, помолодев до состояния младенчества, вылетает из опостылевшей старческой оболочки. Недаром с возрастом отец и сын меняются ролями. Не следует забывать и христианской теологии, где отец, сын и святой дух слились в одном лице. Чье это лицо, никто, впрочем, не может сказать.

Горсть родной земли

Меня, наконец, осенила оригинальная коммерческая идея. Пришла она мне в голову на похоронах. Речь пойдет не о том, как душу продать. Продажей душ, кстати, занимался не только Чичиков, но и мои друзья, Комар и Меламид: они скупали души знаменитых людей (с подписью на сертификате), а потом продавали эти души на аукционе, с молотка. Души покойного Андрея Донатовича Синявского у них на складе не было: кому он продал свою душу, знает только вдова, Мария Васильевна Розанова, с ее репутацией ведьмы. (Старый парижский анекдот: «Приходит М. В. в хозяйственный магазин покупать метлу. Ей говорят: вам завернуть или прямо полетите?»). На похоронах Синявского ходили слухи, что, мол, в то же время в главной синагоге Одессы поют кадиш по Абраму Терцу, и поэтому чье тело хоронили в парижском гробу, вовсе неясно.

Но не в этом суть. На кладбище речь над могилой Синявского произносил и поэт Андрей Вознесенский. В руках он держал при этом пластиковый пакет. С этим пакетом, как я заметил, он ни на секунду не расставался. Пакет оттопыривался: он был, похоже, набит какими-то продуктами питания – такие пакеты носят с собой «органики» на специальной диете из отрубей с фасолью. Закончив надгробную речь, Вознесенский засунул руку в этот пластиковый пакет и вытащил оттуда – кто бы мог

подумать? – горсть земли. Поэт объявил, что это – горсть родной земли на могилу писателя на чужбине. Довольно большая горсть: на полкило. И это горсть не просто родной земли, а земли из Переделкино – видимо, потому, что хоронили все-таки писателя. И поскольку Синявский занимался творчеством Пастернака, все присутствующие поняли, что переделкинская земля эта – с могилы Пастернака. Моя подруга, парижанка Ира Уолдрон, сказала, что не впервые видит Вознесенского на похоронах писателей-эмигрантов. Можно даже утверждать, что поэт был на похоронах всех писателей, скончавшихся на чужбине за последнюю декаду (значащая, как оказалось, фамилия у Вознесенского для произнесения надгробных речей). И всюду его видели с этим пакетом родной земли. С могилы, как я понимаю, все того же Пастернака. То есть он просто-напросто гробокопатель. Скоро от могилы Пастернака ничего не останется. С чем ездить на похороны за границу?

Не знаю, может быть, все эти сплетни про Вознесенского и могилу Пастернака сочинили злые языки, но факт остается фактом: спрос на горсть земли с могилы великого человека был, есть и всегда будет. И тут меня осенила идея магазина, вроде парфюмерии или гербальной медицины, или даже кофейно-чайного магазина, но продавать там в баночках будут землю с могил великих людей. Баночка с наклейкой: «Пастернак». Или «Рильке». Или, скажем, «Лев Толстой». Если мумию Ленина положат в могилу, тоже выйдет прибыль этому делу. Причем, можно вывозить из России, скажем «Ленина», а в Россию ввозить «Маркса» и «Энгельса». В разном, причем, виде: «Набоков», скажем, гранулированный, в зернах или быстрорастворимый. (Кстати сказать, этот состав можно не только бросать в гроб, но и на поминках, растворяя его в вине.) Цена будет варьироваться, естественно, в зависимости от известности покойного, от модности имени (например, все тот же Пастернак), от даты захоронения (древность могилы), но главное:

от количества праха в составе почвы. На баночке так и будет указано: «Пастернак. 0,5% праха». И срок выдержки. Потому что могилы, конечно, начнут истощаться, но следует обновлять почву, подсыпая новую и перемешивая ее с прахом. После достаточного срока вылежаную землю можно будет считать исконно могильной и вполне пригодной для расфасовки. Конечно, возникнет вопрос о перекупке прав на лицензию у родственников усопшего, или концессий у государства частными предпринимателями. Но все это так или иначе разрешимо. Вдова Синявского эту идею «перевозной родины» одобрила. Остается проконсультировать Абрама Терца, еврейского гангстера из Одессы, который когда-то сочинил эссе о Пастернаке под псевдонимом Андрей Синявский.

Двойная география

Перекраивание карты мира – это, как известно, любимое времяпрепровождение диктаторов и реваншистов: по случаю победы над врагом или в связи с собственным катастрофическим поражением. (Настоящие политики, как и великие поэты, согласно Пастернаку, сами не должны отличать поражения от победы.) Однако изменение государственных границ – занятие столь же поэтическое, что и, скажем, вера в заклинательную силу слова у шаманов. Для переустройства мира в новых границах требуется идеология, а никакая идеология не существует без поэтической идеи. Это очевидно. Поэт, политик и банкир Е.Ф. Сабуров утверждал однажды в разговоре со мной, что именно из поэтов выходят лучшие дипломаты: поэзия, мол, в отличие от прозы, по ходу мысли стилистически ближе к государственному расчёту, дисциплине ума и тайной дипломатии. Пример тому в отечественной поэзии – Державин, Тютчев, Фет или тот же Пастернак (пример, впрочем, дипломата-неудачника, ведущего нелепые телефонные разговоры со Сталиным о судьбах русской интеллигенции). Когда поэт Сабуров ненадолго (мы знакомы вот уже лет сорок) стал главой Крыма, у меня и возникла идея встречи старых приятелей-артистов в связи с самым неартистическим, казалось бы, поводом: полувековым юбилеем Ялтинской конференции. Юбилей этот совпал с пост-

коммунистическим пересмотром границ Европы. К тому времени наши общие друзья Комар и Меламид поэтизировали этот сюжет в своем панно «Ялтинская конференция», и нужна была какая-нибудь историческая стена, чтобы это полотно торжественно вывесить. Однако эта первоначальная идея как-то застряла между факсами моей подруги Маши Слоним в Москве и приемной Сабурова в Симферополе, так что идею юбилея встречи в Ялте трех гениев современной истории, разделивших послевоенную Европу на Запад и Восток, подхватило другое поколение, другие друзья-приятели и другие сорок тысяч курьеров с факсами.

Волонтаристское вмешательство артистической мысли в политическую географию планеты не обязательно спровоцировано мировыми катастрофами вроде большевистской революции или разгрома фашизма. Разительный пример тому – нулевой меридиан. Этот меридиан располагается, как известно, во дворе Гринвичской обсерватории в пригороде Лондона. Я несколько лет жил неподалеку и, пока вход в обсерваторию был бесплатный, при всяком удобном случае в этот двор заглядывал. Напомню, что нулевой меридиан представляет собой обыкновенную рельсу, тянущуюся через замощенный двор с севера на юг, и если встать над ней, расставив ноги, то одной половиной оказываешься на Западе, а другой – на Востоке. На тебя при этом нацелены разные телескопы и астролябии: с помощью них британцы и разработали лучшие на свете географические карты. За счет этого (из-за артистичности и точности этих карт) нулевой меридиан в Гринвиче и был признан главным, и мир предпочел в свое время Гринвичский нулевой меридиан всем остальным альтернативам: нулевой меридиан был и в Париже, и в Лиссабоне, и в Амстердаме, где такого меридиана только не было. В юбилей Ялтинской конференции я предлагал перенести нулевой меридиан из Лондона в Ялту как центр новой картографии Европы. Мне лично всегда ка-

залось, что меридиан этот создан специально для индолога и буддиста Александра Моисеевича Пятигорского, в те годы моего соседа по окрестностям Гринвича: из-за своего косоглазия Пятигорский духовно тоже был одной ногой на Востоке, а другой на Западе.

Но скорее всего А.М. Пятигорский сам до сих пор является для кого-то нулевым меридианом, и, когда стоишь перед ним, взгляд начинает раздваиваться на Восток и Запад. Если учесть косоглазие А.Д. Синявского, осевшего в Париже, можно было бы в свое время разработать целую систему параллелей и меридианов под углом зрения величайших умов эмиграции – новую эмигрантскую картографию мира. Эта двойственная суть сетки координат (географическая, политизированная; и личная, примысленная) – и есть, пожалуй, тема моего короткого эссе.

* * *

Двойственность нашего отношения к картографии проявляется прежде всего в концепции самого нулевого меридиана. Ведь это не натуральная часть земного ландшафта – это географическое понятие, гео-графия, то есть разрисовывание земного шара. Лишь викторианский ум, с его просветительским ражем, рационалистическим оптимизмом и одновременно непрошибаемым ощущением фатальности происходящего, способен был на подобный акт интеллектуального варварства: протянуть через весь глобус линию раздела мира на Восток и Запад. Это – как «железный занавес» или Берлинская стена, с той лишь разницей, что рубеж этот – без вооруженной охраны. Но тем не менее, как символ раздела мира на Запад и Восток, меридиан тут же зажил своей поэтической жизнью. Недаром именно тут, в качестве политической провокации, взрывается бомба террори-

ста и гибнет ребенок из романа Джозефа Конрада «Тайный агент»: русское правительство (Восток) недовольно толерантным отношением английского правительства (Запад) к всемирному анархизму и устраивает взрыв, чтобы спровоцировать в Англии репрессивные меры против врагов самодержавия.

Нулевой меридиан – концептуальная фикция, и ее вымышленный противоречивый характер ощущается буквально (визуально), когда стоишь у обсерватории на Гринвичском холме с видом на Темзу. На набережной внизу видно двухкупольное здание старинного Гринвичского госпиталя (он был отстроен после Великого пожара Кристофером Реном), и вдаль, к Сити с собором Св. Павла, убегает серебристая лента Темзы. Узнаете? Это – классический «Вид на Гринвичский госпиталь» раннего Тёрнера. Контраст стилей поразителен.

Тёрнер для меня – это вечная попытка добраться до колористической первоосновы мироздания. Тёрнер – это алхимик живописного ремесла. (Это Тёрнер сказал, что в английской погоде в одно мгновение сразу четыре времени года.) Он был по темпераменту естествоиспытателем и доверял только природному эксперименту и своим пяти чувствам. Он высовывался из окна экипажа во время ураганного ливня, чтобы ощутить кожей то, что видели глаза. В бурю, во время морского путешествия, он приказал привязать себя к мачте, чтобы воочию увидеть, услышать и ощутить шторм.

И вот в наши дни, когда мы стоим на Гринвичском холме, отягощенные цитатами из прошлого, ландшафт перед нами распадается на два произведения искусства. Одно – концептуальное: стальной диктаторской линией мир разделен на две части; как будто нулевой меридиан – авангардистская инсталляция. Второе – интуитивное: Тёрнеровский пейзаж, где кистью, на холсте, создается иллюзия проникновения одновременно в четыре времени года, в четыре элемента природы. Анонимный политический акт (нулевой меридиан) оттенен

сугубо личностным интуитивным видением. Тёрнер, как известно, предвосхитил абстрактный экспрессионизм; викторианские создатели нулевого меридиана – сталинских зодчих «железного занавеса».

Любопытен этот ретроспективный взгляд на Гринвичский ландшафт и тем, что для нас сейчас линия нулевого меридиана прочерчивается тенью интеллектуальной рефлексии не только на пейзаже Тёрнера, но и на его жизни. Наш взгляд замечает сейчас в его биографии то, что раньше лишь упоминалось как курьез. Например, его двойная жизнь. Он был одним из самых богатых художников Англии, членом Академии, с особняком в центре Лондона. Но еще был известен и в Челси (тогда – пригород Лондона) как любовник некоей вдовушки капитана Бута. Он проживал у нее в неказистой мансарде и каждое утро отправлялся на лодке на южный берег Темзы: чтобы увидеть северный берег с другой стороны. Знакомцы капитана Бута не подозревали о существовании члена Королевской академии Тёрнера. Каждый из двух Тёрнеров вел вполне автономное существование. Между ними проходила невидимая линия нулевого меридиана Тёрнеровской биографии, его Восток и Запад. Он создал две приватные географии в собственной жизни и наблюдал за ними с двух разных берегов.

Перебраться из южного пригорода Лондона в центральные северные районы на другой стороне Темзы труднее, пожалуй (из-за разницы в ценах на жилье), чем эмигрировать в 1970-х годах в Лондон из Москвы. Я прожил, по семейным соображениям, неподалеку от пригорода на юге Лондона несколько лет, перебравшись туда из фешенебельного Хэмпстеда. Возвращение в Хэмпстед было как возвращение на родину. (Как цыпленок, принимающий за мать первый увиденный предмет, эмигрант принимает за родину первый же полюбившийся район чужого города.) Дело не только в привычности лиц и закоулков. Я жил подолгу в самых разных частях Лондона. В каждом из этих районов бы-

ло нечто для меня привлекательное. Но нигде, кроме Хэмпстеда, я не чувствовал себя по-настоящему уютно. И улица Бельмот Хилл на Юго-Востоке не была исключением. В Хайгэйте (там, где могила Карла Маркса), на улице Норт Хилл, я тоже чувствовал себя не самым лучшим образом. Лишь переселившись в Хэмпстед, на улицу Хаверсток Хилл, я почувствовал себя дома. В чем дело?

Как вы, наверное, уже заметили, все мои главные адреса связаны со словом Хилл, то есть «холм». Эти улицы совсем не обязательно поднимаются в гору в реальной нынешней географии города, но они обычно совпадают с одним из главных направлений городской уличной жизни. Куда же они ведут? На юг, на север, на запад, на восток, всегда в сторону от некоего делового центра района (Лондон – это конгломерат хуторов-деревень, и у каждого хутора свой центр). Я стал рассматривать карту города и понял, что все мои «хилы» всегда вели более или менее с севера на юг, с разной степенью отклонения в направлении северо-запада.

В своем московском прошлом я никогда не рассматривал городскую карту. Карт просто не существовало (чтобы не стать находкой для шпиона). Городская топография существовала лишь у нас в голове, в виде устных инструкций: сразу за булочной направо в переулок с покосившимся забором мимо башни в подворотню рядом с надписью «Не прикасаться: высокое напряжение». Собственно, карта города представляла собой маршруты между квартирами друзей, пункты встреч и городских визитов. Названия географических направлений были лишь ярлыками. Много лет спустя увидев, наконец, настоящую карту города, я с искренним удивлением обнаружил, например, что станция метро «Юго-Западная» действительно располагается в юго-западной оконечности Москвы.

И вот, сопоставив карту Москвы с картой Лондона, можно убедиться, что улица моего нынешнего прожива-

ния Хаверсток Хилл почти идентична по своим городским координатам улице моего детства в Марьиной Роще – Октябрьской улице. Когда я выхожу из своего нынешнего лондонского дома, я испытываю совершенно детское ощущение привычности окружающей топографии: вот там, вниз по улице, центр, а за спиной – парк, а справа рынок (Минаевский? Камден?). Лишь одна топографическая деталь вызывала у меня до последнего времени некоторое беспокойство: мой родной дом на Октябрьской улице в Марьиной роще находился на правой стороне; а в Лондоне я живу на левой. Пока до меня не дошло: ведь в Лондоне левостороннее движение!

Мораль этой ассоциативной логики в том, что у каждого из нас с детства вырисовывается в уме наша внутренняя картография, некая сетка параллелей и меридианов с центром в нашем родном доме, в нашей квартире. Многие люди, скажем, даже мебель в каждом новом месте жительства расставляют совершенно одинаково. В нашей земной миграции мы стараемся отыскать место, приближающееся к нашей особенной внутренней картографии. Это уже не география, а био-графия. (Есть такая теория, что Петербург в романах Достоевского есть полусознательная шифровка топографии родной ему Москвы.)

Эта внутренняя карта накладывается на внешнюю, «объективную» географическую систему координат. Эти две карты весьма редко совпадают. Мы пытаемся достичь идеального совмещения, и бродяжничаем в поисках этого идеала, руководствуясь внутренним компасом. У некоторых этот компас отсутствует вообще, и тогда мы сталкиваемся с феноменом «вечного жида». Лишь истинные политики не знают прошлого и воспринимают реальную картографию планеты как свою собственную. Не измеряется ли наша политическая нервность этой самой разницей – между нашим внутренним «нулевым меридианом» и реальностью? Более того. Для многих «улица детства» давно перестала существовать в

реальной (политической) географии, наложилась на другие улицы другого детства, стала улицей прошлого, из топографии нашей памяти. Мы пытаемся совместить эту ностальгическую географию, внутренний компас памяти, со странной, чуждой нам реальностью вокруг. Не является ли степень смещения этих двух географий мерой поэтизации действительности?

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора:

В поисках утраченного читателя / 5

Драгоман в Дублине / 11

Голос вне хора / 21

Мой костер в тумане светит / 26

Вооруженный зреньем диких ос / 30

Вобла и террор / 34

Водка по-исламски / 38

Между костром и торшером / 41

Стокгольмские воззвания / 46

Голос за спиной / 50

Чужие среди своих / 54

Левша по-японски / 58

Дама с Каштанкой / 62

Чужая конура / 67

Тюремность демократии / 71

Радио-рыба / 75

Масштабы любви / 79

Шинели и мундиры / 83

Новый эклектизм / 87

Чужая судьба / 91

Вместе по-отдельности / 95

Власть абсолюта /	101
Полное невзаимопонимание /	105
Дымовая завеса /	109
Старая развалина /	113
Бар под крышей мира /	117
Философия наблюдаемого /	121
Эффект Набокова /	125
Свой язык /	129
Оригинал в плагиате /	134
Слоны в Раю /	138
Нищенские принципы /	142
География зависти /	147
Звук и родина /	153
Иррациональный секс /	156
Лас Москвас /	161
Невидимая граница /	164
В джунглях цивилизации /	171
Бисексуальная кабелистика /	176
Дрессировщики жизни /	182
Телефон-автомат /	185
Бродячие лорды /	191
Лиса в чужом посольстве /	194
Нечестная игра /	197
Своя стена /	203
Человек из Назарета /	208
Утопия и утопленники /	212
Утопические жесты /	217
За тех, кто в пути /	221
Право на ошибку /	223
Потерявшие голову /	227
Прошлое из запчастей /	232
В поисках категорического аперитива /	237
Сталин под красным фонарем /	242
Заря коммунизма /	245
Мертвый час /	250

Лето единорогов /	254
Гете в Бухенвальде /	258
Забракованная шизофрения /	263
Вечная старость /	266
О динозаврах и долголетию /	270
Горсть родной земли /	274
Двойная география /	277

ЗИНОВИЙ ЗИНИК
У себя за границей

ISBN 978-5-94607-084-8

Издательство «ТРИ КВАДРАТА», Москва 2007

Издатель и арт-директор: Сергей Митурич

Исполнительный директор: Савва Митурич

Редактор: Елена Шумилова

Корректурa: Ада Мартынова

Производство: Елена Кострикина

Наши издания можно заказать по адресу:
Москва 125319, Усиевича д. 9, «Три квадрата»
тел. (495)151-6781, факс 151-0272
e-mail: info@triquadrata.ru

Подписано в печать 04.06.2006. Формат 84x108/32. Печать офсетная.

Бумага офсетная № 1. Печ. л. 9,0. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии АКО-Принт

22

ЗИНОВИЙ ЗИНИК родился в Москве в 1945 году. Изучал живопись в **Московской художественной школе** на Кудринской улице, топологию на математическом факультете **МГУ** и фехтование на стадионе **«Буревестник»**. Эмигрировал в 1975. Год провел в Израиле как режиссер театра-студии для русскоязычных студентов при Иерусалимском университете. С 1976 года живет и работает в Лондоне. Редактор и ведущий радиопрограммы **«Уэст-Энд»** Русской службы Би-Би-Си и постоянный автор лондонского еженедельника **The Times Literary Supplement**.

С конца восьмидесятых годов публикуется и в России. Шесть романов и два сборника рассказов Зиника переведены на ряд европейских языков.

Романы **«Лорд и егерь»** и **«Встреча с оригиналом»** выдвигались на соискание премии Русского Букера.

Роман **«Руссофобка и фунгофил»** был экранизирован британским телевидением. Опера-буфф **«Here Comes the Tiger!»** [**«Вот пришел тигр!»**] поставлена в Лондоне на сцене театра Лирик-Хаммерсмит (1999).

Драматическое повествование **«Нога моего отца»** было создано по заказу радио Би-Би-Си (2005) и опубликовано в журнале «Урал» (Екатеринбург, 2005).

Зиник – автор эссе **«Эмиграция как литературный прием»**. Член лондонского клуба The Colony Room и основатель Общества Английской булавки.

